Третья сторона

Автор:
Макс Фрай

Третья сторона

Макс Фрай

«Третья сторона» – это цитата (настолько скрытая, что без подсказки мало кто расшифрует) из песни Егора Летова «Армагеддон-попс»: «Монетка упала третьей стороной». Представленные в этом сборнике рассказы последних лет объединяет то обстоятельство, что настоящим главным героем каждого является эта якобы несуществующая третья сторона.

Макс Фрай

Третья сторона

Сны про море в ночь с воскресенья на понедельник

Юзефа закрывает глаза.

Некоторое она лежит на спине, вглядываясь в темноту под закрытыми веками. Под её пристальным взглядом темнота постепенно приходит в движение, загорается разноцветными искрами, становится похожа на дырявый занавес, за которым спрятано – да чего там только не спрятано. Проще сказать, что там спрятано всё.

Юзефа умеет засыпать. То есть, уснуть дурное дело не хитрое, так или иначе, оно удаётся всем. Но Юзефа умеет выбирать, что будет за дырявым занавесом. Что случится, когда он поднимется, отодвинется в сторону, растворится в скрытых за ним свете, движении, смысле. Иными словами, Юзефа умеет выбирать сны.

Юзефа спит, и ей снится, как она стоит на морском берегу, а волны – разноцветные, пенные, гладкие, как застывающее стекло, быстрые, медленные, мутные и прозрачные – в жизни такого разнообразия не бывает, но во сне-то бывает всё что угодно, а Юзефе как раз снится сон – одна за другой набегают на берег. Ревёт, грохочет, шуршит и ласково шепчет; в общем, шумит прибой.

Волна Валентин Александрович вздымается к небу, винно-красная, густая, тяжёлая, пьяная и пьянящая, горячая, безмятежная, бешеная волна. Весь остальной Валентин Александрович счастливо выдыхает: ну наконец-то! Но не просыпается. Что ж он, совсем дурак – просыпаться сейчас?

* * *

Волна Катерина прозрачная, чистая, серебрится в лунном свете, как рыбья чешуя, и катится медленно-медленно, растягивает удовольствие, только затем и нужен берег, чтобы никогда его не достичь, – думает Катерина, прижимаясь во сне к горячему винно-красному боку мужа, и прямо сейчас, не просыпаясь, вспоминает, как когда-то в него влюбилась – вот за это, не за что-то другое. Словно заранее откуда-то знала, что когда они оба станут бушующим морем, Валентин Александрович окажется бешеной, пьяной, сладкой, тёплой тёмно-красной волной.

Волна Алёнка ярко-зелёная, как её самый любимый лимонад, и газированная, как лимонад. Она очень умная, во сне дети гораздо умнее взрослых, это нормально, они просто пока лучше помнят, как тут надо себя вести. И сейчас Алёнка сразу сообразила, что можно не разбиваться о берег, а прыгать туда-сюда, вперёд-назад, гоняться за другими волнами и от них удирать, а иногда перемешиваться, потому что это очень красиво, всё в мире будет красиво, если в него добавить ярко-зелёный газированный лимонад. Волне Алёнке так весело,

что спящая Алёнка вертится во сне с боку на бок, отбрасывает в сторону одеяло, зябнет и кутается в простыню. В конце концов Алёнка падает с дивана на пол, вернее на мягкий ковёр, не ушибается, даже не просыпается, только смеётся во сне – вот это сейчас был прыжок!

Волна Сигуте как бы мозаичная, из отдельных фрагментов, не просто разного цвета, но и из разных материалов, не только из воды. В волне Сигуте попадаются густые, тяжёлые лоскуты ртути, пригоршни песка, кусочки ткани и меха, и ещё кружева, а в водяных частях этой сложносочинённой волны мечутся мелкие рыбки, ползают крабы, даже один воробей затесался, мокрый, взъерошенный, зато, похоже, двоякодышащий, то есть, воробей не гибнет в морской воде. Волне Сигуте так интересно быть волной Сигуте, что она даже не осознаёт, что кроме неё существует целое огромное море. Но это не страшно, у волны Сигуте есть время, чтобы разобраться в себе и начать оглядываться по сторонам, всё время этого мира – её.

Волна Мартинас обнимает волну Сигуте, то есть, спящий Мартинас обнимает Сигуте, но и волна, которой он себе снится, тоже обнимает волну; волна Мартинас большая и тёмная, но почти невесомая, неощутимая, призрачная волна. Быть этой волной так сладко, что уже почти страшно; впрочем, будем честны, не «почти». Мартинас просыпается от крика волны Мартинаса, к счастью, Сигуте ничего не услышала, он её не разбудил.

Мартинас – уже просто сонный Мартинас, но всё-таки ещё немножко волна – долго лежит на спине, старательно, как когда-то на йоге учили, дышит, надувая живот при вдохе и втягивая при выдохе, успокаивает себя, думает: «Я есть, я же точно есть», – он действительно есть, но всё равно получается как-то неубедительно, поэтому Мартинас очень осторожно, чтобы не потревожить Сигуте, встаёт, идёт босиком на кухню и долго, большими глотками пьёт воду, хотя пить не особенно хочет, его не мучает жажда, просто надо разбавить призрачную, слишком лёгкую воду, из которой он всё ещё состоит, нормальной, обычной водой.

Напившись, Мартинас возвращается в спальню, ложится, обнимает Сигуте, засыпает, и теперь ему снится, что он – нормальная, то есть, никакая не призрачная, а настоящая, мокрая, тяжёлая, весомая, горько-солёная морская

волна.

Волна Тадеуш хочет быть самой главной волной в этом море, выше всех других волн. Но волне Тадеушу приходится быть осторожной, потому что на её белопенном гребне безмятежно покачивается серый полосатый кот. На самом деле, кот спит, примостившись на подушке Тадеуша, то есть, на его голове, они оба давно так привыкли, и обычно кот не мешает Тадеушу спать; спать он, собственно, и сейчас не мешает, зато меняет сюжет сновидения, в ходе которого волна Тадеуш вместо того, чтобы вздыматься к небу и бушевать, с рёвом и грохотом обрушиваясь на берег, очень аккуратно и бережно несёт на своём гребне нахала-кота.

Волна Энрике сама не знает, как выглядит, волне Энрике не до того, волна Энрике пляшет и вовсю веселится, хорошо, хорошо быть волной!

Волна Ульяна Михайловна внезапно обнаруживает в себе русалку, в точности как из сказки – девчонку с рыбьим хвостом, немного похожую на внучку Нийоле. Сама Ульяна Михайловна не любит и не умеет играть с детьми, даже с сыном никогда не играла, только покупала ему игрушки; говорила вслух: «Ничего для сына не жалко», – а про себя добавляла: «Сам с этой фигнёй возись».

Но волна Ульяна Михайловна всё на свете умеет, на то она и волна. Ей понятно, чего хотят такие маленькие девчонки – кружиться, кувыркаться, играть. И саму волну Ульяну Михайловну такая перспектива совершенно устраивает, не то что наяву. Поэтому волна Ульяна Михайловна, собиравшаяся неторопливо катиться к берегу, как положено нормальной приличной волне, без сожалений меняет свои планы, обнимает покрепче девчонку-русалку и говорит ей: «Ну, дорогая, держись!»

Андрюс не спит, он – «сова», три часа ночи для него – рабочее время, самый разгар. Такое счастье, что теперь стало возможно работать из дома, по удобному тебе графику, и если чётко выполняешь договорённости, соблюдаешь дэдлайн, никого не волнует, когда ты ложишься и когда поднимаешься.

Хорошие пришли времена! Андрюс уже давно так работает, а всё равно не может нарадоваться, каждый день заново благодарит судьбу, что так удачно сложилась; в юности-то казалось, выбор у него из двух зол: или мучиться, пытаясь вписаться в общий режим, жить унылой выморочной полужизнью, или совсем пропадать.

В общем, Андрюс не спит, он работает, но внезапно, ещё сам не понимая, зачем это надо, встаёт, подходит к окну, стоит, прижавшись носом к холодному стеклу, крепко держится за подоконник, потому что даже не пол под ногами, а весь мир ходит сейчас ходуном, и сам Андрюс ходит ходуном вместе с миром. Вроде, стоит на месте, но всем телом, так же ясно и внятно, как ощущают тепло, или холод, Андрюс чувствует, как вздымается к небу счастливой тугой ревущей волной.

Андрюсу кажется, что так проходит целая вечность, но потом, вернувшись к компьютеру, он убедится, что прошло всего восемь минут, вздохнёт, мечтательно улыбнётся – мама, что это было? А можно ещё? – и закурит прямо там, в кабинете, хотя обычно выходит курить на балкон.

* * *

Юзефа открывает глаза. Юзефа проснулась, но пока не встаёт, лежит на спине, уставившись в потолок, думает: отличный у нас получился сон. Даже не ожидала, что им так хорошо зайдёт! А я-то, дура, им то романтику пихаю, то какие-нибудь катастрофы. Надо, получается, чаще про море сны выбирать.

Наконец Юзефа встаёт, потому что время неумолимо, и пространство неумолимо, и рабочий график неумолим, и, тем более, шеф. В этом мире вообще слишком много неумолимого, – думает Юзефа и тихонько смеётся, разбивая яйца на раскалённую сковородку: – Такой несговорчивый, непокладистый достался нам мир!

У Юзефы есть час десять минут, чтобы позавтракать, выпить кофе, умыться, одеться, привести в порядок причёску, наложить неброский дневной макияж, вылететь в окно, немного покружиться над городом, а потом приземлиться и быстренько добежать до автобусной остановки, успеть на самый удобный автобус, экспресс, без пересадок, прямо до офиса, отъезжающий в восемь тридцать пять.

Валентин Александрович просыпается за полчаса до будильника, такой отдохнувший, словно неделю проспал, и почему-то очень счастливый. Слишком счастливый для понедельника. Нормальному человеку утром понедельника быть таким счастливым просто неприлично, нельзя, – весело думает Валентин Александрович и смеётся – беззвучно, чтобы не потревожить жену Катерину, которая так сладко сопит, положив ладошку под щёку, что жалко её будить.

Некоторое время Валентин Александрович лежит и бездумно, бессмысленно улыбается. Наконец встаёт и идёт в комнату дочки. Так и знал, опять свалилась с дивана, спит, завернувшись в простыню, на ковре. Хорошо, что Катерина не видит, она почему-то всегда очень пугается, хотя чего тут пугаться? Мы все в детстве иногда падали с кровати во сне, это просто нормально, – думает Валентин Александрович, сгребая дочку в охапку. Говорит ей: «Привет! Хорошо спала?» Алёнка энергично кивает и пытается объяснить: «Мне снилось такое… такое… не знаю, какое, но самое лучшее в мире!» «И мне, – говорит Валентин Александрович. И с удовольствием повторяет: – И мне».

Сигуте и Мартинас просыпаются одновременно и смотрят друг на друга, пытаясь собраться с мыслями. Обоим есть что друг другу сказать, но нужных слов никто из них не находит. Хорошо, что можно просто обняться, иногда обняться – единственный способ поговорить.

Потом, когда оба встанут и нарочно, для смеху, толкаясь локтями и бёдрами, будут варить кофе – Сигуте Мартинасу в старой армянской джезве, а Мартинас Сигуте в новой гейзерной кофеварке «мокка», ей больше нравится так – Сигуте скажет Мартинасу: «Забей на того заказчика, ты мне нужен живым и здоровым, всех денег не заработаешь, ты же его давно хочешь бросить, вот и бросай», – или не скажет, а только подумает, что вечером обязательно надо будет об этом поговорить. А Мартинас совершенно точно не скажет, потому что это сюрприз, но с удовольствием будет думать, как обрадуется Сигуте завтра, когда он принесёт ей годовой абонемент в тот шикарный бассейн, про который неделю назад говорили, сокрушаясь – ах, не можем себе позволить! А на самом деле, ещё как можем. Мы, – будет думать Мартинас, – можем всё.

Тадеуш просыпается от того, что кот мурлычет, уткнувшись ему в макушку и одновременно щекочет ухо хвостом. Тадеуш вспоминает, что ему снилось, и смеётся в голос – ну и сон! Гладит кота, выгнув руку – очень неудобно, но не погладить нельзя. Наконец встаёт, выходит на кухню, где уже, приплясывая, крутится у плиты Энрике, студент-медик из Гватемалы, каучсерфер, Тадеуш решил попробовать, как это, и Энрике – его первый гость. Вчера Энрике Тадеушу не особо понравился: плохо говорит по-английски, с таким ужасным акцентом, что почти невозможно понять, выглядит по-дурацки, одевается как подросток и не пьёт даже пива, пришлось покупать ему лимонад. Но сегодня Энрике колдует над сковородкой, подмигивает Тадеушу: «Завтрак готов!» – и дело даже не в том, что приятно, проснувшись, сразу получить горячий омлет, а в том, что глаза у Энрике такие весёлые, что Тадеушу тоже становится весело. И он думает: «Да нормальный он, этот Энрике. Надо будет вечером позвать его на концерт».

Ульяна Михайловна просыпается от удивительного ощущения: у неё в кои-то веки ничего не болит. Встаёт по привычке осторожно, неторопливо, внимательно прислушивается к ощущениям – спина в порядке, и колени в порядке. То ли дурацкие витамины с айхерба, присоветованные невесткой, действительно помогают, то ли как в том анекдоте – если у вас с утра ничего не болит, значит, вы умерли. Вот как, оказывается, – весело думает Ульяна Михайловна, – выглядит рай. В раю у меня двухкомнатная квартира и новые тапки, точно такие же, как купила вчера. Вот интересно, в раю всегда понедельник? Смешно совпало, что именно в понедельник у меня выходной!

Ульяна Михайловна накидывает поверх пижамы старое шерстяное пальто, переведённое в ранг домашней одежды, выходит на балкон и долго-долго стоит там, глядя по сторонам, словно не всю жизнь в этом дворе прожила, а только вчера приехала. Ну или правда поверила, будто попала в рай. Такой, Сведенборговский рай, простой и понятный – всё осталось, как было, только ничего не болит. И двор, засаженный туями, вдруг стал похож на маленький парк. И явно теплее на пару градусов, чем обещали сиоптики. И небо чуть-чуть голубее, чем положено в январе.

Выпив чаю, Ульяна Михайловна достаёт телефон и набирает номер Юргиты, невестки. Говорит: «Извини, дорогая, я вчера отказалась забирать Нийоле на лето, а сегодня подумала: ну я и дура! Вдвоём же в сто раз веселее. Так что поезжайте спокойно в свою Аргентину. Отлично мы с ней будем жить».

Андрюс спит; он лёг почти в половине шестого утра, это даже для него слишком поздно, зато работу закончил и отослал. Андрюсу снится, что из квартиры на втором этаже, где на самом деле – он даже во сне это помнит – живёт такая строгая тётка, похожая на директора школы, поздоровается при встрече, а кажется, что сейчас начнёт тебя распекать; так вот, Андрюсу снится, что из квартиры на втором этаже вылетел ангел, покружил над двором, хлопнул себя по лбу: «Ай я балда, опять перепутал, здесь же нельзя летать в таком виде!» – быстренько превратился в галку и полетел по своим непостижимым ангельским делам.

Это будет длинный день

(из сборника «Сказки Старого Вильнюса VII»)

Брат и сестра близнецы До-й-Хо и Дой-и-Хмарра сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море, смеются, болтают ногами, подставляют лица лучам изумрудного солнца, которое в это время стоит высоко над горизонтом и светит гораздо ярче оранжевого; им весело, им хорошо.

Строго говоря, До-й-Хо и Дой-и-Хмарра не то чтобы именно брат и сестра. Они – две части единого целого, при этом – не совсем идентичной природы; вряд ли это хоть немного похоже на разницу между мужчиной и женщиной, но надо же как-то обозначить, что разница есть.

Когда я говорю, что они близнецы, это означает, что До-й-Хо на пятнадцать тысяч закатов зелёного солнца старше: кому-то из близнецов приходится рождаться первым, жить в одиночку и дышать за двоих, чтобы однажды придумать себе второго, вернее, отчётливо вспомнить, что этот второй всегда был, и тогда осуществляется младший близнец, всё это время скрывавшийся в сладких потёмках несбывшегося, изнывая от нетерпения – сколько можно, меня всё нет и нет! Каждому даётся своё испытание – старшему неполнотой, младшему – долгим, томительным предчувствием бытия; объединившись, они обретают безграничный покой и счастливую силу, и это всё, что можно сказать о них человеческими словами, хотя, конечно, и этого тоже нельзя.

* * *

Так вот, брат и сестра близнецы До-й-Хо и Дой-и-Хмарра сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море; это, конечно, тоже не так, пирс не похож на пирс, и море – совсем не то, что мы привыкли называть «морем», но если я скажу, что два немыслимых существа радостно замерли на границе между сияющей тьмой своего бытия, легко допускающей их возможность, и остальными тьмами, не способными вынести их целиком, выйдет примерно так же неточно, но при этом настолько туманно, что о дальнейших событиях вообще невозможно станет рассказывать, я просто ни одного подходящего слова не подберу.

Поэтому пусть будет море, пирс и двое подростков, старший и младшая, или наоборот, как угодно, сидящих на самом его краю под жаркими лучами изумрудного солнца; про солнце, кстати, почти совсем правда, там, рядом с ними, действительно светится что-то ярко-зелёное, очень похожее на небольшую приручённую звезду.

Брат и сестра близнецы До-й-Хо и Дой-и-Хмарра сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море, и младшая – младший? – прикончив третий по счёту кусок пирога с чьими-то тайными желаниями (из совершенно невыполнимых получается самая вкусная начинка, немного похожая на сладкий творог), со свойственным всем младшим всех времён и миров нетерпением спрашивает: «Когда, ну когда уже можно будет нырнуть?» До-й-Хо смеётся: «Когда плавать научишься», – специально дразнится, чтобы услышать негодующий вопль: «Да я уже так хорошо плаваю, что даже тебя обгоню!» А потом отвечает: «Может быть, и обгонишь, если плавать у самого берега. А тут – глубина».

Но на самом деле, нельзя бесконечно откладывать, даже развлечения – особенно развлечения, – думает До-й-Хо. И говорит: «Ладно уж, прыгай, ныряй до самого дна. Будет здорово, если сумеешь передать мне оттуда привет».

* * *

Девочка Туся, она же Натуся, Ната, Наташа, Наталья, двух с половиной лет, в тяжёлой цигейковой шубке и уродливых чёрных сапожках, доставшихся ей от кого-то из старших кузенов, неуклюже, но резво бежит по улице Яблонскё навстречу незнакомой женщине, которая катит коляску с ребёнком, подбегает, заглядывает в лицо младенцу, бормочет: «Не ты!» – и начинает рыдать, да так отчаянно, что садится прямо в сугроб, наотрез отказывается подниматься; матери приходится брать её на руки, вздыхать: «Какая ты у меня тяжёлая!» – и нести домой, ласково приговаривая: «Ты моя хорошая девочка, кто обидел заиньку, ну хватит, не плачь». Туся успокаивается только после того, как с неё снимут шубу, шапку, рейтузы, остальное тёплое, уличное и переоденут в домашнее: с этого момента всё, что случилось на прогулке, больше не считается, новая одежда – новая жизнь.

«У Туськи очередная причуда, – жалуется Наташина мать заглянувшей на чай с пирогом сестре. – Как увидит на улице кого-то с коляской, тут же несётся знакомиться. Догонит, посмотрит, и сразу в слёзы, поди её успокой. Не понимаю, если ей малыши так не нравятся, чего она к ним лезет? А если нравятся, зачем реветь?» – «Затем, что молодость прошла и уже не вернётся, Туся умная девочка, раньше других это поняла», – отвечает сестра, и обе смеются, тихонько, чтобы не разбудить наконец-то, слава богу, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, вроде бы уснувших детей.

* * *

Четырёхлетняя девочка Ната играет с бабушкиными пуговицами, ей разрешают, знают, что в рот не потащит, не проглотит, не разбросает, ничего плохого с ней не случится, наоборот, счастливый ребёнок будет тихо сидеть в своём углу, а не вмешиваться во взрослые разговоры, не крутиться под ногами возле плиты и не рыдать взахлёб перед телевизором, по которому опять показали ей одной ведомое «что-то не то»; с нашей Натальей никогда не угадаешь заранее, что её огорчит или испугает, – вздыхает мать, – когда родная бабушка умерла, ходила довольная, пела песни, всех утешала: «Бабушке там хорошо», – а когда в дурацком мультфильме кто-то обидел то ли зайца, то ли слонёнка, рыдала так, что кровь носом пошла.

Но пока Ната играет с пуговицами, в доме покой и тишина.

Ната строит из пуговиц что-то вроде цепочки сложной конфигурации; не хватает одной зелёной, в коробке закончились, а зелёная очень нужна, без неё ничего не выйдет. Ната оглядывается по сторонам – точно-точно никто не видит? – тихонько крадётся к журнальному столику, берёт из круглой железной коробки один леденец, он подходит по размеру и цвету, а без дырочек, как на пуговицах, как раз легко обойтись. Цепочка готова, теперь можно отправить записку; спроси – кому? – Ната не сможет ответить, даже если очень захочет, но ей надо, чтобы записка дошла. На записке большими кривыми печатными буквами написано: «ЯНАТА», – слитно, и буква «Я» перевёрнута наоборот, но это совершенно неважно, главное, эту драгоценную информацию обязательно, обязательно вот прямо сейчас передать. Ната пристраивает записку на дальнем конце пуговичной цепочки; некоторое время ничего не происходит, в таких случаях главное не зареветь, потому что сбегутся взрослые, они ничем не помогут, только окончательно всё испортят, поэтому надо сидеть очень тихо, внимательно смотреть на записку и стараться понять, почему она не отправляется, это же самая лучшая в мире почта – где надо, прямая, где надо, скрученная, и по одной зелёной пуговице на каждый завиток.

Несколько долгих минут спустя Нату наконец осеняет, что записку надо положить не просто рядом, а засунуть под пуговицы, да так, чтобы на каждую букву пришёлся свой, правильный цвет; какое-то время она возится со своей конструкцией, наконец, записка исчезает, Ната вскакивает, от избытка чувств хлопает в ладоши, в комнату заглядывает мама, спрашивает: «Хочешь на ужин пирог?»

* * *

Девочка Натуся утром своего шестого дня рождения стоит перед журнальным столом и разглядывает синюю тарелку, на которой лежат два апельсина. Ярко-оранжевое на синем это так красиво, что хочется плакать, но если заплакать, услышит мама, испугается, огорчится, а когда мама расстраивается, мир вокруг делается более красным, и как будто с иголками, они не колются, но всё равно явственно есть; жить в таком мире неуютно, в нём всё тускло и как бы присыпано пылью, даже если включить яркий свет. Поэтому Натуся сдерживает слёзы, она уже знает, как быстро успокоиться: нужно говорить себе шёпотом разные зелёные слова: «жаворонок», «июль», «жасмин», «надежда», «жемчужина», «пятница», «пятьдесят», «южный», «ненужный», «желание», «юнга», «юла», – зелёных слов очень много, они разных оттенков, успокоиться помогают все.

* * *

Девочка Наташа девяти лет впервые в жизни стоит на берегу моря, и у неё кружится голова. Конечно, она уже видела море в кино и на фотографиях, так много раз, что не сосчитать, но когда рассматриваешь картинки, не знаешь, даже представить не можешь, как море будет шуметь – не только снаружи, но и в тебе.

«Море почти такое же большое, как я, – думает Наташа. – Наверное, с ним можно дружить».

* * *

Студентка первого курса Наташа сидит на самом краю крыши шестнадцатиэтажного дома, болтает ногами – высоко-высоко над землёй, и у неё вдруг мелькает мысль: «А ведь можно прямо сейчас вернуться домой, всего один шаг вперёд, и…» От этой мысли Наташе становится очень страшно: какой «шаг вперёд»? Какое «домой»? Совсем дура? Да, я совсем дура. А это вообще я? Или кто?

Наташа отползает подальше от края крыши, медленно, осторожно, спиной вперёд, потом становится на четвереньки, отступает к двери, ведущей с крыши в подъезд, и только там решается подняться на ноги, вцепившись в дверную ручку с такой силой, словно висит над пропастью, хотя до края крыши отсюда метров десять, не меньше. И потом, в подъезде, Наташа крепко держится за перила, двумя руками, а в лифт не заходит, ну его, лучше спуститься пешком. Ей очень страшно, нет ничего страшнее, чем внезапно выяснить, что себе нельзя доверять.

* * *

Женщина Наталья просыпается рядом с мужчиной, в которого влюблена; они отлично вчера погуляли, хотя на вино следовало налегать поменьше, теперь от похмелья слегка болит голова, а в ушах шумит море, которое далеко; просто ближайшее – в трёхстах километрах, а ближайшее тёплое – вообще хрен

поймёшь, зато у меня есть любовь, а это почти то же самое, что…

«Ты моё море», – почти беззвучно шепчет Наталья спящему, но ещё не договорив, вдруг отчётливо понимает: нет, он – не море. И не её. Просто красивый мужчина, рядом с которым приятно проснуться, но отдельный чужой человек, что вообще-то нормально, все люди друг другу чужие, просто некоторые из чужих иногда просыпаются рядом, так случается, вот и всё.

* * *

Госпожа Наталья ставит на стол пустую чашку, говорит: «Это сейчас кажется, что мне всегда было весело и легко. А семь лет назад, когда я сюда приехала, бросив престижную, как принято говорить, работу, сдав квартиру чужим незнакомым людям, по договору, как минимум, на год, с кучей планов, как начну новую жизнь у моря и буду делать только то, что хочу, но даже без грамма уверенности, что завтра же не сбегу обратно, каждый день приходила к морю плакать, просто от ужаса перед ближайшим будущим и тихим, спокойным, понятным прошлым, которого уже не вернуть, рассудив, что моря так много, и оно такое солёное, что даже пол-литра слёз перепуганной тётки ничего не изменит, можно с чистым сердцем сколько угодно рыдать. Впрочем, всё это глупости, не слушай меня, на самом деле, мне и правда всегда всё давалось весело и легко… Допивай, пошли танцевать».

* * *

Наталья Иосифовна сидит на берегу моря, ночью на этом дальнем пляже нет никого, думает: «Всё-таки я молодец, что сюда переехала, могла бы, конечно, пораньше собраться, но и как есть, тоже хорошо. Отлично всё у меня получилось, даже немного жаль всё бросать. Впрочем, Миша справится с танцевальным клубом, а Йори – с кофейной лавкой, я с прошлой зимы ни во что не вмешиваюсь, даже заходить стараюсь пореже, и всё равно прекрасно идут дела».

Наталья Иосифовна достаёт из сумки большую коробку, осторожно, кряхтя, становится на четвереньки, раскладывает на песке разноцветные пуговицы и стеклянные бусины, долго их собирала, строит из них что-то вроде цепочки сложной конфигурации, местами прямой, местами скрученной, по одной зелёной

бусине на каждый завиток. Работы предстоит очень много, но Наталья Иосифовна спокойна: до рассвета ещё почти пять часов.

На самом деле, можно было бы не возиться, никакой особой необходимости в этой смешной детской пуговичной магии нет, но Наталье Иосифовне всю жизнь, сколько она себя помнит, хотелось не просто умереть, а исчезнуть, не оставляя следов. Вот и не оставит, разве что, пару стеклянных бусин в прибрежном песке, но это даже неплохо: какие-нибудь детишки, кувыркаясь в прибое, их случайно найдут, и радости будет столько, что это вполне сойдёт за поминальный салют.

* * *

До-й-Хо читает записку: «ЯНАТА», – улыбается: «Вот молодец!» – медленно считает до четырёх и протягивает руку – ровно за миг до того, как, Дой-и-Хмарра, младший – младшая? – из близнецов, выныривает из тёмной, будем считать, что воды, отфыркиваясь, вылезает на, будем считать, что пирс, повисает на шее у старшей – старшего? – и вопит: «Вот это ничего себе! Вот это да! Вот здорово! Вот, значит, как ныряют! Рррраз – и туда! А там!.. Мне сначала было так страшно! А тебе тоже бывает страшно, когда ныряешь?» До-й-Хо кивает: «Да, ещё бы. Но и весело тоже. И интересно. А тебе как, понравилось? Или нет?»

«Ты ещё спрашиваешь! Как оно могло не понравиться?! Это было так странно! Так глупо! И почему-то так хорошо!» – возбуждённо орёт Дой-и-Хмарра; это обычное дело, вынырнув, все громко орут, особенно поначалу, тем более, в самый первый раз.

Потом, успокоившись, Дой-и-Хмарра сидит на пирсе, прижавшись к старшему – старшей? – брату – сестре? – молчит, переваривая впечатления, наконец предлагает: «А давай в следующий раз нырнём вместе!» До-й-Хо качает головой: «Нет, так нельзя. Кто-то из нас обязательно должен ждать на берегу, потому что мы сами и есть берега друг для друга; иных берегов для нас нет».

Дой-и-Хмарра хмурится, но и сам – сама? – знает, что спорить тут не о чем. У каждой игры есть правила, которые надо выполнять, если хочешь, чтобы она продолжалась, это понятно всем. Наконец говорит: «Ладно, нельзя так нельзя. А мы сегодня ещё понырять успеем?» – «Конечно, – улыбается До-й-Хо. – Чего только мы с тобой не успеем. Это будет длинный день».

Будешь смеяться, не будешь

(из сборника «Неизвестным для меня способом»)

Полидевк пишет Кастору:

Здравствуй, родной. У нас на Олимпе всё как всегда, этот наш вечный сияющий май, тёплый и сладкий, ни дуновения ветра, ни капли дождя. Знал бы ты, как опостылела мне эта божественная погода, специально предназначенная для удовольствия бессмертных божеств, то есть, нас – на этом месте начинаем смеяться; ладно, я начинаю прямо сейчас, а ты досмеёшься в свой срок.

Мне тебя не хватает. Я не грущу, не скучаю, но мне тебя не хватает, как руки, отражения в зеркале, тени, биения сердца, воды, но я не печалюсь, это разные вещи, ты знаешь. Или узнаешь заново, когда окажешься на моём месте – скоро, скоро уже.

Добрая весть: я подружился с Бореем; я со всеми легко схожусь, ты знаешь, и это лучшее, что я мог сделать для себя (для нас обоих, потому что он обещал и тебя опекать). Представляешь, он дует! Приходит украдкой, как вор, как тайный любовник, и дует. Здесь, на Олимпе, посреди блаженного вечного штиля, дует грозный Борей – правда, только в стенах нашего медного дома, для меня одного, но какое мне дело до остальных. Не то чтобы мне нравилось мёрзнуть, но когда блаженство не просто возможно, а неизбежно, поневоле начинаешь тосковать по обычным человеческим неприятностям, например, по шквалам, ливням и граду. А обнаружив на своём ложе, обычно устланном всякой сладостной чепухой, вроде фиалок и перистых облаков, настоящий снежный сугроб, как высоко в горах и в далёких северных землях, испытываешь – даже не счастье, а то, что превыше счастья – ликование и азарт. Стучать зубами от холода на Олимпе, хохоча от невыносимой нелепости происходящего – прекрасный способ стать чем-то бо?льшим, чем просто блаженный бессмертный. Не могу объяснить, чем именно, не стану даже пытаться: ты и так понимаешь, а остальных не касается, это только про нас.

Самый счастливый человек на Олимпе, конечно, Гефест: у него работы по горло, он всегда занят делом, а не от случая к случаю, как остальные. Очень ему завидую, с самого первого дня, я-то никчемный бездельник, а выступать в этой роли, ты знаешь, совсем не по мне. Когда это мы с тобой праздно сидели на одном месте больше двух часов кряду, даже если это место – за пиршественным столом?

Кстати, о пиршественных столах, к амброзии и нектару я, наверное, никогда не привыкну, хотя они хороши, но все причитающиеся мне порции (и твои заодно, прости) на тысячи лет вперёд я бы сейчас отдал за кусок свежего мяса, плохо прожаренного в середине, обуглившегося по краям, с этим – помнишь? конечно, ты помнишь! – горьким запахом дыма от наспех сложенного костра. А если так, придётся придумать, как бы это устроить, хотеть и не делать нам с тобой не к лицу. Надо всё-таки научиться спускаться с неба на землю, как отец и другие, хотя бы ради охоты, дело стоит того.

Вряд ли это тебе интересно прямо сейчас. Там, где ты есть, всё иначе, я помню. Я собирался оставить эту записку перед уходом, на ложе, чтобы попалась тебе на глаза, но пройдоха Гермес мне сказал, что сумеет доставить письмо, где бы ты ни был, хвастался, для него не существует границ между мирами бессмертных, живых и мёртвых; в общем, мы с ним поспорили на блаженный весёлый сон о поцелуях усмирённой, покорной менады, и знал бы ты, как я хочу проиграть ему этот сон, да хоть все сны с поцелуями разом, сколько их уже было, вечно одно и то же, легко без них обойдусь.

Вряд ли ты мне ответишь, это я понимаю, сам бы не стал (и не стану, когда придёт моё время остаться вне времени), но если захочешь и сможешь передать хотя бы просто привет на словах, мне, положа руку на сердце, будет куда веселей на этом нашем блаженном Олимпе; ну в общем, сможешь так сможешь, а нет – значит, нет.

Кастор пишет Полидевку:

Будешь смеяться (не будешь), но твой легконогий посланец принёс не только письмо, но стило и табличку, сунул мне… ладно, скажем так, в руки, хотя откуда им взяться? Неведомо. Однако сунул их мне, и теперь нетерпеливо приплясывает на месте в своих смешных крылатых сандалиях, пока я помню тебя и пишу.

Обычно я о тебе не помню, ты знаешь, ты сам обо мне не помнишь в Аиде, здесь забвение – общий удел. Но мне тебя не хватает, даже когда не помню, и это, будешь смеяться (и снова не будешь) совсем не мучительно, скорее, наоборот. Мёртвые одиноки настолько, что возможность ощутить чьё-то (неведомо чьё, чьё – мы не помним) отсутствие, как настоящую недостачу, становится выходом из абсолютного одиночества, подсказывает, что бывает иначе, а знать, что бывает иначе – это уже почти стать живым.

А быть живым здесь, в Аиде – отличное приключение, это жутко и весело, я затем и пишу, чтобы ты непременно попробовал, когда окажешься на моём месте, считай, подстрекаю, как всегда подстрекал на разные дурацкие выходки, которые редко кончались добром, но тебе они нравились, значит, понравится и сейчас.

Это знаешь, на что похоже? Конечно, ты знаешь, но я всё равно расскажу. Помнишь, как мы проходили Симплегады? Гребли изо всех сил, направляя корабль вперёд, одновременно усилием воли удерживали скалы на месте – не сейчас, не сейчас! – и у нас получалось, мы уже почти ликовали, когда перед нами поднялась та чудовищная, до неба, неумолимая, как небо, волна. Сколько молитв всем богам о спасении каждый из нас уместил в ту долю секунды, даже гекатонхейру на пальцах не сосчитать, и молитвы сработали, явилась Афина, мы прошли Симплегады – помнишь тот общий, один на всех выдох? Ради одной только сладости этого выдоха стоило всё затевать.

Будешь смеяться (конечно, не будешь), здесь тоже примерно так: наша сила и воля против волны забвения и тьмы, смыкающейся со всех сторон. Только Афина не явится в самый последний момент, ей не место в Аиде. Хочешь спастись – на

здоровье, спасайся, но сам. Только сам.

Так вот, я – великий счастливчик, потому что во всякий страшный последний момент ко мне на помощь неизменно приходишь ты, сероокий, огромный, с пылающим факелом, сам пылающий, всемогущий, как Афина пред Симплегадами, и подобно ей усмиряешь волну, останавливаешь движущиеся скалы, и я успеваю, я всегда успеваю, раз за разом – пройти, проскочить, уцелеть и сделать тот самый счастливый ликующий выдох, который доступен только живым. И это такая победа, о которой не только герои, но и сами бессмертные боги не могут мечтать, они просто не в силах вообразить, что такое бывает – это во-первых. А во-вторых, даже если вообразят, всё равно повторить не смогут: у них нет тебя. А у меня ты есть.

Полидевк пишет Кастору:

Здравствуй, родной. Гермес принёс твой ответ, а платы не взял даже снами, хотя я так ликовал, что всё готов был отдать, остаться в одной тунике, самой ветхой, испачканной кровью Амика; впрочем, и её бы отдал.

Я и теперь ликую. Живу, непрерывно ликуя, как, наверное, и подобает бессмертным здесь, на Олимпе. Раньше, будем честны, получалось довольно неубедительно, словно я не единокровный сын Зевса, а самозванец, мошенник, украдкой пробравшийся на небеса, но не сумевший стать одним из бессмертных. Был бы ты рядом, сейчас рассмеялся бы: самозванец и есть! – а я бы пихнул тебя в бок, мы бы славно подрались, как в детстве, когда рукопашная – просто возможность держать друг друга в объятиях сколько угодно долго, у всех на глазах.

Послание от тебя – это было так много и одновременно так мало, что я обезумел. И во мне совсем не осталось древнего тайного страха, которого ты, я знаю, всегда был лишён – что однажды отец, всемогущий вершитель, наделяющий жребием, поражающий громом, подающий благие советы, ниспосылающий дождь, отвернёт от меня свой сияющий лик, и тогда от меня не останется

ничего, даже памяти о тебе.

Я отправился к Зевсу и спросил его прямо: зачем ты солгал, посулив, что мы с братом будем вдвоём царить на Олимпе и вдвоём низвергаться в Аид? Тогда как на деле мы вечно сменяем друг друга, отправляясь поочерёдно то на Олимп, где каждый миг блаженного бытия исполнен горчайшей муки, то в Аид, где забвение сладко, как сон предрассветный. Почему ты нас разлучил?

Отец не разгневался, представляешь? Только зачем-то коснулся моих волос; не будь это Зевс, я бы решил, что он погладил меня по голове, как няньки ласкают младенцев, а так – до сих пор не пойму, что бы это могло означать.

Он сказал (или я подумал; сам знаешь, иногда голос Зевса бывает так тих, что неотличим от мыслей): что бы там ни болтали невежды и сплетники, но у Леды родился только один сын. А что в двух разных телах, бессмертном и смертном – нашли чему удивляться. Ещё и не такие причуды бывали в нашем роду.

Он сказал (наверное, он сказал): я тебе не солгал, когда обещал, что вы с братом останетесь вместе. Вы и остались вместе, я вас не разлучал. Разлучить кого-то с самим собой даже мне, прозванному Эрихфеем, Разрывающим, не под силу. И браться не стал бы. Да и зачем?

Он сказал (конечно же, он сказал, я бы не сумел так подумать): такова твоя участь – всегда пребывать в двух телах, бессмертном и смертном, скорбеть на небесном Олимпе, блаженствовать за Ахероном, тут ничего не попишешь. Рождённый мостом между жизнью и смертью, таким навсегда и останется, это высокая участь, ликуй, Полидевк, и не плачь.

Он сказал мне: «Не плачь», – представляешь? Но я и не плакал. С чего бы? Я не младенец. А влага, текущая по щекам, просто подарок Борея; я же писал тебе, что он иногда является в гости с дождями, снегами и шквалами? Ну вот, и

сейчас, и сейчас.

Кастор думает, растянувшись на ложе, в медном дворце на Олимпе:

Будешь смеяться (не будешь, не будешь), я так и знал.

Белый ключ

(из сборника «Сказки Старого Вильнюса VI»)

Правильно заваривать чай его учил Зденек в те смешные времена, когда на паях с приятелем открыл чайный клуб (прикинь, какой прикол: почти сто сортов чая и больше ничего, ни вина, ни сэндвичей, ни печенья какого-нибудь, ни даже кофе, только чай, а народ всё равно ходит, мест свободных нет).

Без практики знания быстро вылетели из головы, остались только бессмысленно красивые формулировки: «жемчужные нити», «рыбьи глаза», «шум ветра в соснах», «белый ключ». Всё это разные стадии кипения воды; лучше всех запомнил «белый ключ». Во-первых, его легко определить, это когда закипающая вода становится мутно-белой, а во-вторых, именно в этот момент и следует заваривать чай; кофе, кстати, тоже – если используешь френч-пресс. Очень важно успеть, пару секунд спустя уже будет поздно. Китайцы называют крутой кипяток «мёртвой водой», вроде бы, в ней остаётся слишком мало кислорода, или что-то вроде того.

Выражение «мёртвая вода» его впечатлило, всегда был излишне чувствителен к словам. С тех пор всегда покупал прозрачные чайники и кипятил воду только в них. Стоял у плиты, заворожённо смотрел, как со дна поднимаются мелкие пузырьки, постепенно складываются в тонкие нити, а потом их становится так много, что вода белеет, словно в неё добавили молоко, вот в этот момент и пора убирать чайник с огня.

Сам Зденек быстро утратил интерес к чайным церемониям, демонстративно заливал бумажные пакетики «липтона» крутым кипятком, щедро сыпал сахар,

резал лимон, ржал: «Я – чайный гранж-мастер». А он так на всю жизнь и остался верным последователем «белого ключа».

За Зденеком вообще было не угнаться, он всегда был скор на расправу со своей жизнью, менял одну на другую, не задумываясь, не торгуясь, не искал ни выгоды, ни даже какого-то особого смысла, только возможности в любой момент всё разрушить и начать заново. Что Зденек действительно отлично умел, так это красиво начинать.

Очень этой его лихости завидовал. И вообще всему Зденеку, целиком. Впрочем, «завидовал» не совсем верно сказано. Просто хотел быть таким же, а родился совсем другим – собой. Говорят, выше головы не прыгнешь; глупости, выше – как раз запросто. Что действительно невозможно, так это выйти из собственных берегов, а глядя на Зденека, хотелось именно этого. Зденек был – океан.

Впервые увидел Зденека в детстве, на пляже, и запомнил на всю жизнь.

Никогда не спрашивал, бывал ли Зденек в том курортном городе, куда его каждое лето возили отдыхать, и без расспросов не сомневался: там, у моря, был именно он. Прыгал в воду с высокого пирса и так при этом лихо кувыркался, словно в цирке выступал. Думал тогда, этот дочерна загорелый белобрысый мальчишка гораздо старше; оказалось, ровесник, просто такой вот длинный. Зденек на всю жизнь так и остался выше, почти на целых полголовы, и это тоже было обидно – вот же засранец, и тут обскакал.

А в тот день смотрел на него, открыв рот. Сам прыгать с пирса не стал, понимая, что на фоне белобрысого акробата будет выглядеть неуклюжим мешком. Потом до отъезда тренировался, чтобы тоже так научиться. В конце концов, более-менее получилось, однако особой радости не принесло. Во-первых, где теперь тот белобрысый мальчишка, поди его отыщи. А во-вторых, даже если объявится, ясно, что не станет сидеть в стороне и восхищаться его кувырками.

А на меньшее был не согласен.

Вспомнил об этом несколько лет спустя, когда Зденек пришёл в их класс – посреди учебного года, видимо, семья внезапно переехала; впрочем, какая разница, главное, что в классе появился новенький, длинный, белобрысый и такой загорелый, словно на улице стояло лето, а не дождливый ноябрь.

Сразу его узнал и понял, что это шанс. Незаметно открыл окно, вышел из кабинета, обогнул здание школы, каким-то чудом, цепляясь за карнизы, вскарабкался на подоконник третьего этажа. Ему тогда здорово повезло, что не свалился, потому что проделывал этот трюк в первый раз.

Ввалился в класс через окно, сразу после звонка, как ни в чём не бывало, поздоровался с математичкой, вежливо извинился за опоздание и сел на своё место; нечего и говорить, что это был настоящий триумф. Его, конечно, таскали к директору и родителей вызывали, мать перепугалась до смерти, дома был страшный скандал, но всё это не имело никакого значения, потому что Зденек смотрел на него примерно так, как он сам когда-то на пляже, с плохо скрываемым восхищением – во даёт!

На третий день знакомства они подрались; теперь уже не вспомнить, по какому поводу, и был ли он вообще. Драку, можно сказать, свели вничью: Зденек был сильнее, а в нём оказалось больше злости, о которой до того дня даже не подозревал. Потом, конечно, подружились, как это нередко случается после подобных драк, которые на самом деле не столько выход агрессии, сколько исследование: кто ты? И кто я, когда я рядом с тобой?

Это была странная дружба; впрочем, наверное, любая дружба странная, когда смотришь на неё не со стороны, а будучи одним из действующих лиц. Откуда вдруг возникает прочная связь между двумя чужими людьми? Чем скрепляется, пока длится, почему так радует и даёт столько сил? Как вообще всё это работает? Чёрт его разберёт.

Потом, много позже, став взрослым, почти пожилым человеком, говорил, что дружба это неосознанная, но очень храбрая попытка установить личные отношения с, условно говоря, богом, используя другого человека в качестве средства связи. Всегда провальная, никогда не напрасная.

Впрочем, вряд ли важно, что он там говорил. Слова это только слова, даже если удачно подобраны. Правда настолько больше слов, что в человека не помещается. Человек – мелкое озерцо, в лучшем случае, море. Правда – всегда океан.

Ладно, это была странная дружба, а как ещё сказать. Даже не то чтобы постоянное соревнование, скорее выступление, нескончаемые танцы на глазах друг у друга. Оба в результате стяжали сладкую славу неуправляемых хулиганов, при этом школу он закончил с отличным аттестатом, хотя прежде имел твёрдую репутацию «способного, но ленивого» троечника, как, наверное, все нормальные дети, которых никто ничем толком не сумел заинтересовать. Но мычать и блеять у школьной доски на глазах у Зденека, обладавшего феноменально цепкой памятью, было бы невыносимо, поэтому приходилось зубрить всё, включая ненавистные языки, которые этому гаду давались с полпинка, как бы сами собой. Дозубрился до того, что несколько раз решал за друга особо сложные задачи по физике. Засчитал себе, как победу; что думал по этому поводу Зденек, так никогда и не узнал.

Это продолжилось в университете. На вступительных экзаменах сами толком не понимали, чего хотят больше: учиться вместе или всё-таки утереть другому нос, оставив его за бортом. В любом случае, поступили оба, причём как-то на удивление легко, особенно если вспомнить, сколько дешёвого белого вина выпили в ходе подготовки к экзаменам, демонстрируя друг другу гигантские размеры болтов, якобы забитых на учёбу. На самом деле, оба, конечно, зубрили, как проклятые – в лютом похмелье, врозь, по утрам.

Их преподавателям и сокурсникам, можно сказать, повезло; по крайней мере, скучно не было. Хотя, вспоминая их со Зденеком выходки, шутки и перепалки, догадывался, что с точки зрения окружающих всё это было немного чересчур утомительно. Да и для него самого, даже тогда – перебор. Но куда деваться, если где-то рядом вечно болтается Зденек и его надо, как минимум, приводить в изумление. В идеале – восхищать.

Долгое время был уверен, что Зденек совсем не старается его поразить. Думал, он сам по себе такой – парадоксальный, блестящий, феерический. Кумир девушек в возрасте от четырёх до восьмидесяти и некоторых особо злобных профессоров. Но однажды Анна, та самая, которую они несколько раз азартно отбивали друг у друга, к сожалению – где были наши глаза?! – вовсе не ради её

самой, сказала что-то вроде: «Без тебя Зденек совершенно нормальный, а при тебе вечно начинает выпендриваться так, что тошно становится». Сделал вид, будто не обратил на её слова никакого внимания, но на самом деле, конечно, ликовал. Надо же, оказывается, Зденек тоже прикладывает усилия, чтобы меня удивить! Засчитал этот факт как победу, вместе с теми школьными задачками по физике. Хотя в глубине души догадывался, что существование этого списка побед само по себе сокрушительное поражение. Нокаут, не по очкам.

Очень много в те годы путешествовали, в основном, автостопом – у студентов, даже подрабатывающих всеми доступными способами, редко есть деньги на билеты. Иногда ездили компанией, но чаще отправлялись вдвоём, и это, наверное, самое лучшее, что с ним было, не только во времена их со Зденеком дружбы, а вообще за всю жизнь. Мир оказался безгранично велик, местами обескураживающе красив и так интересен, что можно было временно оставить друг друга в покое. У гор, морей и звёздного неба всё равно лучше получается изумлять человека, как ни старайся, их не превзойдёшь, и это совсем не обидно. Ну, почти не.

Тогда, собственно, и познакомились по-настоящему, уже совсем всерьёз. Путешествия дают ответы примерно на те же вопросы, что и школьные драки: кто ты? И кто я, когда я рядом с тобой? – только гораздо более развёрнутые и подробные.

Интересные ответы, надо сказать.

Когда буквально через месяц после защиты диплома родители погибли в аварии, оставив его с четырнадцатилетней сестрой Лаурой на руинах раз и навсегда рухнувшего мира, сразу позвонил Зденеку. Честно сказал: если можешь, будь рядом, я при тебе сразу начну притворяться великим героем, глядишь, выдержу, не сорвусь. Так и вышло, при Зденеке он отлично держался, и сестрёнка, глядя на них, более-менее успокоилась – насколько это вообще было возможно. Положа руку на сердце, Зденек их тогда спас – самим фактом своего существования, не допускавшим возможности лечь и сдаться, пойти вразнос.

На поминках они не пили – рано было расслабляться. Оставались трезвыми весь вечер и ещё три дня, пока не отвезли Лауру в Ригу, к родственникам, которые

организовали ей плотную программу с поездками и развлечениями до конца лета. А вернувшись домой, наконец-то надрались как следует, вдвоём, в просторной квартире на улице Агуону, которая, несмотря на оставшуюся от родителей мебель, казалась совершенно пустой.

Вот тогда, на исходе второй бутылки, Зденек горячо зашептал, склонившись к самому уху: «Ты не думай, что их совсем нигде больше нет. Там, после смерти, дофига всего интересного, в сто раз больше, чем здесь».

Господи, да ему-то откуда знать?

Тараторил с такой скоростью, словно боялся, что с неба вот-вот спустится ангел в милицейской форме и потащит его в райскую кутузку за разглашение секретных сведений, не дав договорить: «Когда мне было восемь лет, я утонул – совсем, представляешь? Мы тогда жили у моря, я часто удирал купаться с мальчишками из двора, плавать ещё толком не научился, а в тот день были сильные волны, и одна… Ай, неважно, в общем, я утонул и умер, и за мной пришли такие отличные сияющие чуваки… или, кстати, чувихи, не знаю, вот уж на что мне тогда было плевать. Они мне очень понравились, обещали отличные приключения, я даже обрадовался, что можно с ними пойти, но тут вспомнил, что нам послезавтра должны оставить дядину собаку на две недели, я с начала лета этого ждал, а вечером по телевизору будет новая серия мультфильма про Чёрного Плаща, и так стало обидно всё это пропустить, что я отпросился. Ну что ты ржёшь, действительно отпросился, ты меня знаешь, я, если очень надо, кого угодно могу уговорить, а у моих сияющих чуваков оказался покладистый характер, они согласились, что собака это ужасно важно, и мультфильм интересный, а у них телевизоров нет, сказали – ладно, гуляй ещё тридцать лет, потом приходи».

Пьян был к тому моменту до изумления. И всё ещё раздавлен гибелью родителей. Наверное, поэтому так легко поверил в Зденеков гон о сияющих чуваках и прекрасной загробной жизни, которая понравится маме и папе – чего ещё можно было желать. И что рыдал в три ручья у него на груди от горя и облегчения, тоже, в общем, понятно. И теоретически простительно. Но простить себя, конечно, не смог. И Зденека за компанию – что оказался одновременно причиной и свидетелем его слабости. Хотя Зденек никогда, ни при каких обстоятельствах об этом не вспоминал.

Не то чтобы они после этого разговора перестали дружить, но виделись гораздо реже. По объективным причинам, – говорил он себе. Ему тогда пришлось много работать, Лауркина пенсия по утрате кормильцев курам на смех, а почти взрослую девицу надо не только кормить, но и наряжать, и возить на каникулы, и водить к репетиторам, и за всё это как-то платить. И дома её надолго одну не оставишь, и бухать с собой не потащишь, и к себе никого особо не приведёшь, сестра-подросток в этом смысле гораздо хуже самых строгих родителей: при ней противным взрослым хмырём, который знает, как лучше, и всё запрещает, поневоле становишься ты сам. Удивительное превращение, вот уж от себя не ожидал.

Но в глубине души понимал: дело не в сестре и не в двух с половиной работах, ему просто стало тяжело видеть Зденека. И непонятно, как себя с ним вести. После всего, что было, вряд ли получится притворяться весёлым, бесшабашным, бесстрашным и лёгким на подъём. А быть другим при Зденеке не хотел.

Потом жизнь завертела их окончательно и почти развела. Наступили совсем иные времена, трудные, но и полные удивительных новых возможностей. Он внезапно обнаружил в себе способность зарабатывать настоящие деньги и быстро вошёл во вкус, а Зденек тогда как раз вовсю начал экспериментировать с переменами участи – менял работы чаще, чем женщин, которые у него тоже не слишком задерживались, вечно куда-то уезжал, потом возвращался, звонил, всегда неожиданно, натурально падал на голову, пропахший другими жизнями и весёлыми чужими ветрами, неизменно приносил какую-то экзотическую выпивку, травил завиральные байки о своих похождениях, был ему по-прежнему очень дорог, но и безмерно раздражал.

На фоне Зденека сразу начинал снова чувствовать себя тем самым противным взрослым хмырём, в которого когда-то превратился ради сестры; сам понимал, что это не так, у него всё отлично, и Зденек восхищённо качал головой, расспрашивая о бизнесе – ну ты даёшь, я бы не смог! – но сердцу хотелось совсем другого. Хрен знает, чего.

В один из своих приездов Зденек и ввязался в затею с чайным клубом; он не особо верил в успех будущего предприятия, но под руку не каркал, даже помог им с партнёром найти подходящий подвал в самом центре, на отличных

условиях, в смысле, настолько дёшево, что сам не ожидал. За помощь получил звание почётного гостя номер один, читай – гарантированное место в любое время; эта привилегия очень пригодилась потом, когда, вопреки его пессимистическим прогнозам, в клубе начался постоянный аншлаг.

В те дни они со Зденеком снова стали видеться часто, как прежде, ходил к ним почти каждый вечер, очень полюбил это смешное, пропахшее благовониями место и ритуал приготовления чая на огне – тихий, неторопливый, но не лишённый некоторого утончённого пижонства – тоже полюбил. Заворожённо смотрел, как со дна прозрачного чайника поднимаются первые пузырьки, как сплетаются в тонкие нити, как постепенно белеет и мутится вода. Белый ключ! – победоносно восклицал Зденек и брался за дело, принимался заваривать чай.

Это было очень красиво. К тому же, чай, особенно улун, который почему-то называли не «зелёным», а «бирюзовым» – с какой стати? где там та бирюза? – всегда оказывал на него удивительное воздействие, иногда расслабляющее, иногда, наоборот, бодрящее, чайные мастера говорили, это зависит от множества факторов – сорта чая, времени его сбора, даже текущей фазы луны – но чувствовать себя взрослым хмырём он в любом случае переставал. Всего на пару часов, но и это огромное облегчение, на которое не рассчитывал никогда.

И Зденеку он в эти вечера совсем не завидовал, хотя, по идее, было чему – в полумраке чайного клуба, в китайском шёлковом кафтане, склонившийся над подносом с драгоценной посудой, его старый друг и вечный соперник выглядел легкомысленным юным богом, решившим смеху ради провести каникулы среди людей.

Но потом Зденеку всё надоело. Сперва он перестал заваривать чай и занялся закупками, мотался в Китай, приезжал оттуда довольный собой и жизнью, но ещё через год заехал по дороге в Индию, решил открыть там хостел на берегу океана и окончательно пропал из виду. Ну как – окончательно. На пару лет пропал.

Чайный клуб никуда не делся, им занимался Зденеков приятель. Хуже там, объективно говоря, не стало, и бирюзовый чай по-прежнему оказывал на организм целительное воздействие, но он всё равно постепенно перестал туда ходить. Без Зденека никакого смысла – вообще ни в чём.

Но всё равно как-то жил. Впрочем, почему «как-то»? Очень даже неплохо. Жизнь и без смысла, сама по себе вполне хороша.

Спасаясь от очередного острого приступа отвращения к собственной взрослости, купил мотоцикл, и это было такое прекрасное решение, что долго потом изумлялся, почему не завёл его раньше. Мотоцикл оказался таким же хорошим другом, как Зденек. Ну, почти таким же, поговорить с ним всё-таки не получалось. Зато он совершенно не раздражал. Не подавлял своим великолепием – всё-таки не человек, а машина, просто хорошая вещь. А внимания и напряжения сил требовал, пожалуй, не меньше, чем их студенческая дружба. И радости приносил не меньше. Каждая поездка была немного похожа на их со Зденеком путешествия, только гораздо короче. Но два часа счастья настолько больше, чем ничего, что грех роптать.

Зденек тогда как раз снова вернулся, покончив со своей чуть было не удавшейся индийской жизнью. И, конечно, сразу оценил мотоцикл. Смотрел с таким же восторгом, как в тот день, когда он вошёл в класс через окно. Попросил разрешения прокатиться и, похоже, всерьёз боялся услышать отказ. А через неделю купил себе такой же. Честно признался, что спустил на него почти все деньги, которые успел заработать, и ни о чём не жалеет, кроме того, что не сделал это давным-давно.

Когда узнал, что Зденек погиб, разбившись на своём новеньком мотоцикле, совершенно не удивился, как будто именно такого финала и ждал. Невольно прикинул: в конце зимы Зденеку исполнилось тридцать восемь, так что всё сходится, на сколько отпустили, столько и погулял. Но легче от этого, конечно, не стало, какое там «легче». Чувствовал себя так, словно умер сам.

Но, конечно, не умер. С чего бы. Только мотоцикл продал, быстро, первому попавшемуся покупателю, здорово продешевив. Плевать, всё равно он был нужен, чтобы удивить Зденека, а потом время от времени его обгонять. А теперь зачем.

На похороны не ходил, для него это было как-то слишком. Вместо этого пошёл в чайный клуб, где все тоже были изрядно пришиблены новостью, в глазах один и тот же немой вопрос: как же мы теперь без Зденека? Хотя уже давно отлично

справлялись без него.

Попросил разрешения самому заварить чай. Ему без вопросов сразу выдали чайник, газовую горелку, специальный поднос и всё остальное, что требовалось. Сидел в дальнем, самом тёмном углу, скрестив ноги, на подушках, смотрел, как со дна поднимаются пузырьки. Дождался, пока вода станет мутно-молочной, снял чайник с огня, прежде, чем понял, что делает, выплеснул воду на пол, словно собирался заварить вместо чая весь окружающий мир.

Пол, кстати, остался совершенно сухим. Никто не понял, как это произошло, но особо не удивились. Когда поминаешь человека вроде Зденека, всякое может случиться. Не о чем тут говорить.

Дальше было уже неинтересно. То есть, много разного, но по сути – ничего. Как-то жил, что-то делал, зарабатывал деньги, возился с племянниками, иногда путешествовал – без особого удовольствия, самому себе, утратившему интерес к поездкам, назло. Через пару лет после смерти Зденека женился, с каким-то нелепым чувством, что теперь-то, чего уж, всё можно. Как будто раньше кто-то запрещал. Брак, как ни странно, оказался довольно удачным – насколько что-то вообще могло быть удачным для него. По крайней мере, стало гораздо проще объяснять себе, почему до сих пор жив и кому это надо – как же, кому, а вот, к примеру, жене и сыну. Какой с меня спрос.

Иногда вспоминая Зденека, думал: получается, я всё-таки выиграл – его нет, я живу. Но в глубине души знал, что на самом деле проиграл – каким-то образом сразу всё.

Жил долго, вырастил сына, который всегда казался ему совершенно чужим человеком; ладить это им, впрочем, не мешало, даже наоборот. Дождался внуков, похоронил жену, чрезвычайно выгодно избавился от бизнеса, объявив, что хочет отдохнуть, от безделья предсказуемо захворал, болезни особо не сопротивлялся, наоборот, с облегчением думал, что скоро можно будет перестать притворяться живым.

Очень от этого спектакля устал.

Впервые по-настоящему испугался уже в больнице, после операции, которая прошла неудачно, было ясно, что счёт пошёл скорей на часы, чем на дни. Вот тогда действительно стало страшно; впрочем, на собственный страх смотрел словно бы со стороны, отстранённо, думал: наверное, так со всеми бывает, обычное дело, инстинкт самосохранения, из-за него тело боится умирать, даже если не хочет жить. Всё-таки Зденек везучий, умер неожиданно, как говорили врачи, мгновенно, ещё молодым и очень счастливым, с кучей дурацких планов, дал мне подсказку, как хорошо уходить, а я не прислушался. Такой был дурак. А теперь одно утешение – настолько ослаб, что орать и визжать от ужаса не смогу при всём желании; и на том спасибо, хоть остатки достоинства сохраню.

Открыв глаза, увидел, что у изголовья постели кто-то сидит на стуле, подумал: наверное, медсестра, в больницах положено, чтобы при умирающем кто-то дежурил. Вернее, медбрат, вон какой длинный; ай, да какая разница, кто пришёл тебя провожать.

Впрочем, разница всё-таки есть.

– Видишь, я снова смог договориться, – сказал ему Зденек, такой молодой и красивый, что снова ощутил давно забытую зависть: я тоже хочу быть таким, а не этим бессмысленным искромсанным хирургическими ножами, накачанным морфием мягким кожаным бурдюком, почти пустым, только жалкий, подкисший остаток жизни на самом дне.

– Всегда знал, что ты доживёшь до старости, – говорил Зденек. – А старикам трудно умирать, если только не выжили вовремя из ума. Но дураку понятно, что эта лазейка не для тебя. Поэтому заранее договорился, чтобы мне разрешили тебя подождать; я кого хочешь уболтаю, ты знаешь. Прикинул: увидишь меня, начнёшь по привычке выпендриваться, забудешь о страхе, красиво уйдёшь.

Глазам своим, конечно, не верил. Ушам – тем более. Предсмертные галлюцинации обычное дело, в своё время много об этом читал. Но какая разница, пришёл к нему Зденек или просто примерещился. Главное – он здесь.

– Там действительно до хрена всего интересного, – говорил тем временем Зденек, – я тебе той ночью – помнишь? – не врал. Пока ждал тебя, не сидел на месте, кое-что разведал, не то чтобы много, но есть с чего начать. Может,

пойдём прямо сейчас? Зачем тебе эта дурацкая агония? Ты упрямый, я тебя знаю, не захочешь сразу сдаваться, а никакого особого смысла в этих мучениях нет.

Молча кивнул, и тогда Зденек протянул ему руку, помог подняться; это оказалось неожиданно легко. А потом они вместе – сидя? стоя? паря под потолком? хрена лысого разберёшь, когда такое творится – смотрели, как дрожит, пузырится, сияет и кружится всё ещё зримый мир, как постепенно светлеет и загустевает ночное небо над городом, словно в него добавили молоко.

Ирруан, доудаль, индера

(из сборника «Сказки Старого Вильнюса VII»)

06:20

Дана проснулась в шесть двадцать, за десять минут до звона будильника, не потому, что выспалась, а просто по привычке. Сунула телефон в карман пижамных штанов, сгребла плед и подушку с неразобранного дивана, на котором уснула с планшетом где-то в начале второго, оттягивая момент, когда придётся идти к мужу в спальню, сунула в шкаф и пошлёпала в ванную, почти беззвучно повторяя обычную утреннюю молитву: «Будь всё проклято, будь всё проклято, Господи, прокляни, пожалуйста, всё». Молитва, судя по всему, работала достаточно эффективно, по крайней мере, по утрам окружающий мир обычно производил впечатление вполне проклятого – не самым страшным смертным проклятием, а так, серединка на половинку. Впрочем, Дана не особо обольщалась на свой счёт: ясно же, что по утрам ещё куча народу проклинает всё на свете. Получается дружный хор. Вероятно, быть проклятым это такая утренняя зарядка мира, одно из великого множества обязательных мучений, необходимых для поддержания внутренней дисциплины и общего тонуса.

Сама Дана зарядку по утрам не делала. Ради зарядки пришлось бы просыпаться ещё на полчаса раньше. Ну уж нет.

06:30

Будильник в телефоне начал трезвонить в половине седьмого, когда Дана стояла под душем, не то чтобы наслаждаясь звонкими тугими струями горячей воды, как обычно говорят в таких случаях, но уже не очень сильно от них страдая. Умеренно. В самый раз.

Дана умеренно страдала, энергично намыливая колени, а телефон звонил. Это повторялось каждое утро. Дана всегда забывала отключить будильник, проснувшись, вернее, притворялась, будто забывает, на самом деле, ей нравилось надеяться, что однажды этот звонок раньше времени разбудит дочку и мужа, которым можно дрыхнуть почти до семи, пока готовится завтрак. Будь они оба прокляты вместе с остальным окружающим миром и ещё дополнительно две тысячи четыреста раз, по одному проклятию на каждую секунду сладкого утреннего сна.

Но они никогда не просыпались. Что, в общем, понятно: телефон в кармане пижамы, пижама на вешалке в ванной, между запертой дверью ванной и комнатами – коридор. Даже если не спать, вряд ли что-то услышишь. Так жаль.

06:35

В шесть тридцать пять Дана вышла из ванной и поплелась на кухню. Нажала кнопку кофемашины, щёлкнула кнопкой чайника, достала из хлебопечки ещё тёплый домашний хлеб, шваркнула на плиту сковородку, нарочно стараясь произвести побольше шума, но это не сработало, это никогда не срабатывало, у мужа и дочки был крепкий сон. Пока кофеварка фыркала, чайник задумчиво подвывал, а сковородка разогревалась, Дана стояла, прижавшись лбом к холодному оконному стеклу, и тихо бормотала: «Айнабурды, дотихан, казавайя, лай-улулу, дарабу, гимустан, аюны, куверды». Это почему-то всегда помогало: если прижаться лбом к любой твёрдой поверхности и говорить вслух первую пришедшую – не на ум даже, просто на язык – бессмысленную чушь, можно не сойти с ума, даже утром, пока жаришь яичницу после пяти часов тревожного, обречённого на скорую гибель от звона будильника сна.

06:50

Ровно в шесть пятьдесят из спальни донеслось треньканье мужниного телефона, в шесть пятьдесят три в ванной зашумела вода, в шесть пятьдесят восемь наступила тишина, в шесть пятьдесят девять раздался теоретически приятный слуху всякой матери, а на практике ненавистный, как и все остальные утренние звуки, детский смех, означавший, что Дарюс разбудил Машку и сейчас они придут жрать. Дана залила кипятком пакетик ягодного чая для дочки, нажала кнопку кофейной машины и усилием воли сложила губы в традиционную утреннюю улыбку. Вполне можно одновременно улыбаться и всё проклинать. Мама, папа, я – счастливая семья. Чего ж этим проглотам не быть счастливыми, когда завтрак уже на столе.

07:35

В семь тридцать пять Машка пошла одеваться – сама, спасибо, господи, хоть что-то она уже способна сделать сама! Дарюс, читавший за завтраком новости, неохотно отложил планшет, буркнул: «Спасибо», – и тоже встал из-за стола.

07:55

В семь пятьдесят пять Дарюс с Машкой вышли из дома, как всегда, с запасом: первый урок начинается в половине девятого, а идти до школы максимум двадцать минут, даже медленным шагом толстяка Дарюса, даже если постоянно останавливаться, как это делает Машка, чтобы подобрать яркий лист, круглый камешек и всю остальную грязь, какая найдётся на улице, всю эту проклятую грязь. Хорошо, что Дарюсу на работу только к девяти, ехать пятнадцать минут на автобусе, и он всегда сам провожает Машку до школы. Дарюс никогда не сердится на дочку, не кричит, не торопит, хорошо, что ему всё равно.

07:58

Самое обидное, невыносимо, до злых, молча проглоченных слёз обидное, что Дане на работу тоже к девяти, причём ей даже ехать никуда не надо, только выйти из дома, свернуть за угол, и всё, уже пришла. Если бы муж и дочь были способны сами приготовить себе завтрак, или просто соглашались убраться из

дома без обязательной утренней жрачки, можно было бы спать почти до половины девятого. На два часа дольше, на целых два прекрасных длинных утренних часа.

«Будьте вы прокляты», – привычно думает Дана, складывая тарелки в посудомойку. «Будьте вы прокляты», – повторяет она про себя, выглядывая в окно, чтобы помахать им на прощание. Дарюсу всё равно, а Машка всегда оглядывается и радуется, увидев в окне маму, не стоит её огорчать. Поэтому Дана энергично машет, Машка восторженно прыгает, муж оборачивается, лениво поднимает руку в приветственном жесте. «Зачем это он? – устало думает Дана. – Наверное, считает, мне будет приятно. Да я прям помираю от счастья! Оттого, что какой-то толстый мужик оглянулся и помахал».

– Я вас не люблю, – говорит Дана вслух. – Не люблю, так и знайте, ни капельки. Обоих. Мечтаю, чтобы вы исчезли. Надоели. Убирайтесь вон.

Муж и дочь, конечно, её не слышат, но послушно скрываются за поворотом, а Дана всё стоит у окна, зажмурившись, бормочет про себя: «Тэрао, утверда, алиссо, грумантрис, адру, курандай». Сейчас ей почти легко.

08:20

В восемь двадцать Дана вышла из квартиры. Слишком рано, но делать дома особо нечего, а если на полчаса прилечь, встать потом будет так трудно, что ну его к чёрту, одного утреннего подъёма вполне достаточно, чтобы сделать жизнь совершенно невыносимой, ни к чему подвергать себя этой пытке два раза подряд. Поэтому перед работой Дана часто заходит в кафе напротив троллейбусной остановки на углу улиц Винцо Кудиркос и Чюрлёнё и заказывает маленький чёрный без молока. Это, конечно, глупая, ненужная, лишняя трата – платить полтора евро за кофе, когда дома отличная кофемашина, капсула стоит примерно втрое дешевле, но, во-первых, дома кроме кофемашины кушетка на кухне, диван в гостиной, кровать и ещё кровать, ляжешь – не встанешь, а встанешь – заново всё проклянёшь. А во-вторых, в этом кафе так чудесно пахнет кофе и свежей выпечкой, такие удобные стулья, такие широкие подоконники, такие белоснежные стены, такие смешные круглые банки с хризантемами на столах, такие улыбчивые баристы, такие симпатичные посетители, что поневоле чувствуешь себя почти живым человеком, а в тягостном повседневном

существовании появляется некое подобие смысла. Обман, конечно, но очень приятный обман. И уж всяко стоит тридцати евро в месяц, а сэкономить можно на чём-нибудь другом.

08:55

Без пяти девять Дана входит в свой офис, здоровается с коллегами, снимает пальто, садится, включает компьютер, и её охватывает тоска, такая привычная, что впору начать считать её даже приятной, как минимум, успокаивающей: я хочу выть и биться об стены, следовательно, существую, чего ж мне ещё.

Но Дана, конечно, не воет, не бьётся, а улыбается всем присутствующим, говорит: «Какое прекрасное утро, очень тёплая осень в этом году».

13:00

Коллеги ушли на обед, а Дана осталась; она всегда остаётся, ей удалось договориться с начальницей, та пошла навстречу, разрешила Дане работать без обеденного перерыва и уходить на час раньше, не в шесть, а в пять, чтобы забрать Машку с продлёнки в половине шестого. Не то чтобы это было жизненно необходимо, продлёнка официально работает до шести вечера, а неофициально с детьми всегда кто-нибудь сидит до семи и даже дольше, пока всех не разберут, просто Дана не любит делать большие перерывы в работе и есть в середине дня, после еды очень хочется спать и невозможно сосредоточиться, слишком просто сделать ошибку, а ошибок лучше не делать, слишком уж долго и муторно их потом исправлять.

Поэтому оставшись одна, Дана пошла на офисную кухню и нажала на кнопку кофейного автомата, кофе здесь скверный, зато бесплатный. И почти всегда найдётся печенье или сушки, или просто сухарики в специальной вазе для всех. Можно сгрызть кусочек, чтобы не тошнило от голода, запить жидкой молочно-кофейной бурдой и обратно к компьютеру, к цифрам, написанным в столбик, буквам, написанным в строчку, до конца ежедневной умеренно мучительной пытки осталось чуть меньше четырёх часов.

Но прежде, чем сесть за работу, Дана прижалась лбом к оконному стеклу и какое-то время неподвижно стояла в надежде, что сейчас – не на ум, сразу на язык – снова придут бессмысленные сочетания звуков: «дорбурад», «ататун», «мулустай», успокоительные, как лекарство, ласковые, как поцелуи бездны, в которую мы все падаем, падаем, падаем, и те, кто ведёт себя хорошо, не кричит, не плачет, не бьётся о стены, не бросается на людей, выполняет обязанности, подчиняется правилам, умирают заранее, не достигнув самого дна, не ощутив боль удара, потому что она была равномерно распределена на всё время падения. Вполне щадяще распределена.

Но слова не пришли. Они почти никогда не выговариваются на работе, даже когда никого нет рядом. Видимо, просто обстановка не та.

16:59

Без одной минуты пять Дана выключила компьютер, вежливо попрощалась с коллегами, привычно сжалась в комок от их завистливой неприязни: только делает вид, будто не ходит обедать, на самом деле, остаётся и ест, пока никто не видит, кофе пьёт и бездельничает, пани Галя однажды вернулась за зонтиком и застукала эту выдру на кухне, это у нас называется «не ходить на обед», – примерно так думают дамы из бухгалтерии, но вслух, конечно, никогда ничего не говорят. Они вежливые, да и к Дане относятся скорее с симпатией, просто вот прямо сейчас она свободна как птица и может делать что хочет, наслаждаясь многообразием чудесных возможностей: хоть за дочкой в школу, хоть в супермаркет за хлебом и макаронами, хоть домой, варить мужу обед, а остальным сидеть на работе ещё целый час.

17:08

По дороге к Машкиной школе Дана встретила кошку, трёхцветную, гладкошёрстную, старую знакомую, часто попадается на пути. Кошка ласковая и не пугливая, наверное раньше была домашней, а может, просто научилась ладить с людьми, вон какая гладкая и упитанная, окрестные жители неплохо её подкармливают, Дана и сама бы покормила, но у неё с собой нет никакой еды.

Кошка нравится Дане, жила бы одна, взяла бы её, не задумываясь, но Дана живёт не одна. Ещё неизвестно, понравится ли кошка Дарюсу и будет ли убирать за ней Машка; скорее всего, не будет, а значит, на Дану свалится дополнительная работа, нет уж, так не пойдёт.

Дана присела на корточки, предусмотрительно подобрав полы пальто, чтобы не перепачкать, осторожно, одним пальцем погладила пёструю кошку. Кошка тут же замурлыкала.

– Извини, – сказала ей Дана, – ты очень хорошая кошка. Но мне нечем тебя любить.

Хотела, конечно, сказать: «мне нечем тебя накормить», а вышло вот так. Чуть не заплакала от этой своей оговорки, но сдержалась. Машка заметит, если Дана придёт зарёванной. Не нужно её лишний раз огорчать.

17:20

Ровно в двадцать минут шестого Дана поднялась на школьное крыльцо. Машка выскочила навстречу, повисла на шее, такая тяжёлая, здоровенная уже корова, а верещит в самое ухо что-то младенческое, глупое, бессмысленное, своё. Ничего, ничего это надо просто перетерпеть. Желательно, ласково улыбаясь. Машка не виновата, что маме нечем любить даже пёструю кошку, никого нечем любить.

17:35

Машка пожаловалась, что на продлёнке сегодня не гуляли, воспитательница сказала, дождь собирается, неправду сказала, не было никакого дождя. Стала уговаривать: давай пойдём домой через парк. Дана открыла было рот, чтобы сказать: «В субботу пойдём, а сейчас мне некогда, папа вот-вот приедет с работы, а у нас ужин не готов». Но передумала. Вдруг поняла, что гулять с дочкой в парке, конечно, не слишком весело, но гораздо проще, чем готовить проклятый ужин. Написала Дарюсу: «Пошли с Машкой в парк, задержимся, купи себе пиццу или придумай ещё что-нибудь». Муж кратко ответил: «Супер!» – и

Дана подумала, что гулять по вечерам надо почаще. Можно вообще каждый день. А Дарюс пусть жрёт свою любимую пиццу, всё равно жирный, хуже уже не будет. А если и будет, плевать.

18:18

Набегавшись, Машка стала плести венок из красных кленовых листьев. Дана достала телефон, чтобы проверить, не написал ли что-нибудь муж; время на телефоне было красивое: восемнадцать-восемнадцать. В юности Дана считала подобные совпадения хорошей приметой. А теперь, конечно, не верила в такие глупости. Но всё равно почему-то обрадовалась. Закрыла лицо руками, холодными, как мокрые листья, беззвучно пробормотала: «Атрапта, ковет, глимускаль».

Машка дёрнула её за рукав:

– Мама, ты что, плачешь?

Дана отняла руки от лица, улыбнулась:

– Ну что ты. Просто немножко устала. Пойдём?

– Можно я доплету венок? – спросила дочка.

Дана хотела сказать: «Что за глупости, зачем тебе этот венок? Скоро стемнеет, пора домой». Но неожиданно для себя согласилась:

– Конечно, можно. Мы никуда не спешим.

19:31

Домой пришли аж в половине восьмого. Дарюс встретил их на пороге, очень довольный, в переднике прямо поверх костюма, с кухонным ножом в руках. На столе лежали коробки с пиццей, одна большая, две маленькие, и стояла

пластиковая миска, до краёв наполненная слишком крупно нарезанными огурцами. Муж объявил, сияя от гордости:

– Пока вы гуляли, я сделал салат. Чтобы, как ты говоришь, не одини углеводы.

«Да уж, сделал так сделал», – саркастически подумала Дана. Но вслух, конечно, сказала:

– Ты у нас молодец.

22:55

Машка давно спала, Дарюс клевал носом на кухонной кушетке, делая вид, будто внимательно смотрит сериал; наблюдать его муки было невыносимо, и Дана сказала:

– Ты сидя спишь, иди в кровать.

– А ты опять будешь спать на диване? – спросил муж.

Спросил не сердито, как раньше, не обиженно даже, но так по-детски беспомощно, что у Даны язык не повернулся ответить: «Всё лучше, чем слушать твой храп». Сказала:

– Ну что ты. Я случайно вчера в гостиной заснула. Хотела немного почитать, и вдруг – брык! – как выключили меня. Иди в кровать, я сейчас хлеб на утро поставлю, развешу стирку и тоже приду.

– Давай я развешу, – предложил Дарюс.

Встал с кушетки и отправился прямо в спальню. Он всегда сам предлагает помочь, а потом ничего не делает, словно бы верит, что слов достаточно. Удивительный человек. И сердиться на него бесполезно. Да и как рассердишься на такого беднягу? Невесёлая участь – жить с женщиной, которая проклинает тебя по утрам, а вечерами просто глядит с нескрываемым отвращением. Бедный жирдяй, так влип.

«А уж Машка как влипла, – подумала Дана, аккуратно насыпая муку в мерный стакан. – Вообще ни за что ни про что. Я её не люблю. И вряд ли кто-то когда-то полюбит. Она пока вполне ничего, но вырастет жирной коровой, вся в отца».

23:12

Бельё развешано, хлебопечка перемешивает тесто, начало двенадцатого, самое время идти спать, завтра снова подъём в половине седьмого. Но обидно: когда и жить, если не сейчас, домашние наконец-то улеглись, не путаются под ногами, хлебопечка уютно жужжит, за окном накрапывает мелкий осенний дождик, а Дана стоит, прижавшись горячим лбом к холодному стеклу, и беззвучно плачет о тех, кого не может любить: о муже, дочке и пёстрой кошке, которая, впрочем, наверняка забралась в какой-нибудь тёплый сухой подвал, свернулась клубочком и чувствует себя гораздо лучше всех нас вместе взятых. «Надеюсь, что это так, – думает Дана. – Пусть хотя бы кошке будет сейчас хорошо».

А потом слёзы заканчиваются, и к Дане приходят слова. «Айобелль, – тихо бормочет Дана. – Ланексаль, шилтумара, адайти. Ирруан, доудаль, индера!»

1988807329404844473 49:953

Дана Лой Элинталь Маль-Муран Йоторана, восемнадцатый младший принц туманных долин Адайти, открывает свой Тёмный глаз, предназначенный для созерцания ночи, видит рядом свою старшую сестру-близнеца Дану Лой Альдимер Маль-Муран Йотокати и плачет от облегчения всеми тремя подвластными ему долинами и ещё одной отцовской, благо отец разрешает детям плакать его самой дальней долиной, когда для полного выражения чувств не хватает своих.

– Опять страшный сон приснился? – спрашивает сестра, и Дана Лой Элинталь Маль-Муран Йоторана кивает. А потом говорит сквозь слёзы своих долин:

– Такое ужасное место мне снилось, милая Йотокати! Там никто не смеет спать, сколько хочет. И не может делать, что хочет. И я там не умел… не умела… мне было нечем любить. Скажи мне, что так не бывает, милая Йотокати! А если

бывает, объясни, как сделать, чтобы так не было. Потому что если так всё-таки где-нибудь, хоть для кого-нибудь есть, я не согласен быть!

– Ты такой смешной, Йоторана! – улыбается сестра, восемнадцатая старшая принцесса туманных долин Адайти. – Конечно, так не бывает. Мало ли, что иногда может присниться. Не плачь, мой маленький. Не бойся, я буду рядом. Спи.

…дай нам на сей день

(из сборника «Неизвестным для меня способом»)

Летит, дрожит, летит, летит – прилетел. Пребывает, дрожит, голодает, зовёт, ждёт.

Просыпается, проявляется, дышит. Голодает. Не дрожит, приближается. Приблизился, принюхался, узнал.

Встретились, ластятся. Сговариваются.

А-шшшу-ай-шшшуу-аай-шу-шшуу.

Сса-а-шшу?

Су-шуу-шшу.

Договорились. Плетут. Голодают. Плетут, дрожат, ждут.

* * *

Ольга идёт по заснеженному городу, в городе темно. Здесь всегда темно, здесь всегда снежно, этот город для снега и темноты, не для людей. Людей отсюда увозят каждый день в девять вечера, неизвестно куда, известно, что это

погибель, гибель, гибель – здесь в девять вечера, каждый день, всегда.

Ольга идёт, оглядываясь по сторонам, она хочет спастись, но не знает, как. Правила поведения здесь постоянно меняются, но их нигде не пишут, не рассказывают, не объявляют по радио, правила просто есть, их следует знать. Сейчас Ольге надо сделаться Катей. Она повторяет: «Я Катя, Катя». Это важно, правила опять изменились, сегодня быть Ольгой нельзя.

Катя, беги отсюда, беги, уезжай, тебе нужен поезд, скорее иди на почту и купи там билет на поезд, ещё только четверть девятого, ты можешь успеть, – говорит кто-то. Никого рядом нет, только голос звучит, по тембру и интонации он похож на Ольгины мысли, но это всё-таки не они. Голоса надо слушаться; обычно здесь никого слушать нельзя, в этом городе вечного снега и тьмы все враги, но голос не враг, у голоса нет тела, он не может убить и съесть… или всё-таки может? И сейчас заманивает в ловушку. Например, на почте, сидит его, голоса, тело с часами на окровавленной левой руке, на часах уже почти девять, а билетов на поезд там нет.

Никогда неизвестно, что здесь правда, что нет, кто помощник, кто враг, где спасение, где ловушка, можно только угадать. Надо, чтобы очень повезло, тогда угадаешь. Катя не умеет угадывать, ей редко везёт. Ольге страшно; нет, не Ольге, а Кате, она сейчас Катя. Катя хочет спастись, убежать, уехать из снежного города, но она не умеет спасаться, и никто её не спасёт.

Катя, Катя, – укоризненно говорит толстая женщина в вязаной шапке, – ты зачем идёшь мимо почты, Катя? На почте очередь за билетом, смотри! Длинная очередь, медленно движется, ты точно не успеешь. Войди, Катя, становись в очередь, стой до девяти. Купи, Катя, билет, два билета, себе и Ольге, если денежки есть, – на этом месте толстуха начинает заливисто смеяться, обнажая страшные гнилые клыки, визгливо повторяет сквозь смех: – Оленьке тоже купи билетик, Катенька! Денежки не жалей, больше не пригодятся, мёртвым нужна только морковь, морковь, – и как бы в подтверждение своих слов вынимает из рваной дыры на месте левого глаза огромную мягкую бледно-оранжевую морковку, но Катя туда не смотрит, она только что вспомнила важное правило: мёртвые женщины исчезают, если на них не смотреть. Открываются двери лифта, Катя входит, ликуя: я спасена! На этом лифте можно уехать далеко, прочь от почты, теперь не придётся в очереди за билетом до самого страшного девятого смертного часа стоять.

Когда за Катей закрывается дверь лифта, она снова становится Ольгой, которой здесь быть нельзя, и тут же понимает: у меня нет билета! Я еду без билета, мне конец! Она пытается закричать: «Пожалуйста, остановитесь, я пойду за билетом», – но цепенеет от ужаса, не может издать ни звука, а лифт, набирая скорость, едет куда-то, или летит, или падает; лифты всегда падают, если заходишь в них без билета, – вспоминает Ольга.

Падает, падает лифт.

* * *

С-шшши-ёошшом!

Ошом-шоом!

Едят. Ликуют. Едят.

* * *

– Почему мы ничего не делаем? – спросил ангел Урсус Маритимус.

Вообще-то никакой он не Урсус, а просто Михаил Константинович. Но ему сказали, прежнего Михаила Константиновича, как ни крути, больше нет, поэтому лучше сразу с ним распрощаться, чтобы не было искушения по привычке продолжать считать себя человеком, которого так зовут. Если без имени неуютно, можно придумать какое-то новое и менять его, когда захочется, хоть каждые полчаса. Ну он и выбрал – в честь белого медведя. Такое имя менять ещё долго не захочется. С детства восхищался страшным красивым северным зверем, втайне считал, что белый медведь – его тотем.

– Потому что ещё рано. Надо подождать. Потом объясню, почему, а пока просто поверь мне на слово, – ответила ангел Вера Ахметовна. И ласково обняла ангела Урсуса Маритимуса, чтобы не нервничал. Вернее, что-то такое с ним сделала, тождественное ласковому объятию для тех, у кого нет плотных человеческих тел.

Вообще-то никакая она не Вера Ахметовна. И не факт, что «она». Просто когда ангелу Урсусу Маритимусу, бывшему Михаилу Константиновичу, предложили самому придумать себе идеального учителя, рядом с которым всегда интересно, которому не стесняешься задавать вопросы, если чего-то не понял, в памяти сразу всплыло лицо Веры Ахметовны. Вера Ахметовна была его учительницей математики с четвёртого по седьмой класс. А потом они переехали, и школу пришлось поменять. Он скучал по Вере Ахметовне, даже письма ей писал, правда, ни одного не отправил, постеснялся; теперь-то ясно, что зря. Таких чудесных училок, как Вера Ахметовна, в его жизни не было ни до, ни после; ладно, грех жаловаться, она-то сама была.

В общем, ангел Урсус Маритимус вспомнил Веру Ахметовну, выбрал её в учителя, и она тут же пришла, бесплотная, но безошибочно узнаваемая, черноглазая, с длинной шеей и худыми руками, как у фарфоровой балерины, с седыми волосами, связанными на затылке аккуратным узлом. Сказала: «Будем работать в паре, так понемножку всему и научишься, тут у нас такие дела творятся, что словами бесполезно объяснять».

И теперь ангел Урсус Маритимус и ангел Вера Ахметовна вместе пребывают во тьме – на тех избыточно тёмных участках тьмы, которые надо озарять вечным светом. Такая у них работа; Вера Ахметовна говорит, самая лучшая в мире для тех, кто, так получилось, больше всего любит помогать и спасать, а Михаил Константинович пока просто не знает. Он совсем новичок. Не только к работе, а даже к самому себе не привык.

На самом деле, вряд ли они с Верой Ахметовной именно ангелы. Просто бестелесные существа, наделённые своего рода властью над некоторыми видами материи, вернее, над некоторыми видами отсутствия того, что люди считают материей. Но об этом, честно говоря, лучше думать поменьше, хоть и считается, будто после смерти невозможно сойти с ума.

В жизнь после смерти Михаил Константинович не очень-то верил, только смутно надеялся – а вдруг там всё-таки не конец? Но особо на эту тему не парился: что будет, то и будет, всё равно этого не изменить. Наверное, верующему человеку, философу-мистику, или хотя бы просто мечтателю, на его месте было бы гораздо легче согласиться с происходящим и даже ему обрадоваться. В общем-то, есть чему: после смерти Михаилу Константиновичу досталось несколько восхитительно невесомых огненных тел на выбор и чрезвычайно счастливая

судьба. По крайней мере, все вокруг его уверяют, что такая участь считается очень счастливой; кто эти «все вокруг» – отдельный вопрос. Удивительные существа разной степени плотности, внятности и вменяемости, которые встретили его на границе между светом и каким-то другим светом, увели от пропасти забытья, окружили вниманием и заботой. Быть среди них оказалось так здорово, что Михаил Константинович иногда всерьёз опасается, что на самом деле не утонул, спасая тех глупых мальчишек, а выжил, лежит в больнице бревно бревном, созерцает приятные галлюцинации, потому что мозг необратимо повредился, но биологически он всё-таки пока жив.

Другие ангелы, или не ангелы, кто их – нас! – разберёт, говорят, это нормально. Так поначалу сомневаются многие новички, и их можно понять: довольно сложно привыкнуть к новой концепции бытия, особенно если она совершенно не похожа на предварительные ожидания. Но быстро привыкать совершенно не обязательно: впереди вечность, хочешь, не хочешь, однажды всё равно поумнеешь, ни к чему с этим делом спешить.

Однако к работе его приставили сразу же. Не потому что такие уж бессовестные эксплуататоры посмертного труда, просто заниматься подходящим тебе полезным и увлекательным делом – самый простой и понятный способ бестелесно существовать. Умение наслаждаться покоем и праздностью приходит гораздо позже, на самом исходе отведённой ангелу вечности. Да и то говорят, не ко всем, для этого нужен особый талант.

Поэтому бездельничать новоиспечённому ангелу Урсусу Маритимусу не пришлось. Его, ошеломлённого и растерянного, приставили к Вере Ахметовне, и сразу началось такое веселье, что бывшему Михаилу Константиновичу вскоре стало некогда беспокоиться, умер он или лежит в больнице под капельницей. Да и какая разница, когда столько дел.

* * *

Насладились. Воркуют.

Ссаа-шшу.

Са-шшшу!

Не насытились.

Шшшуу-аай-шшу.

Ошшуу-шу.

Встрепенулись. Плетут, плетут.

* * *

Ольга металась в падающем лифте, билась о стены, кричала беззвучно, как рыба, – не только ртом, всем телом, она вся была – крик. И, наконец, проснулась, мокрая от пота, одновременно озябшая, с тяжёлой больной головой. Некоторое время лежала, не открывая глаз, чуть не плача от облегчения: это был сон. Просто сон, слава богу. Обычный ночной кошмар.

А когда открыла глаза, обнаружила, что лежит на земле совершенно голая, среди тысяч других голых женских тел, сидящих, лежащих, ползающих, воющих, и тогда наконец вспомнила, какой стала жизнь, что было перед тем, как она уснула от изможденія; лучше бы больше не просыпалась, лучше бы умерла во сне, пусть бы сердце разорвалось от ужаса, всё равно по сравнению со страшной явью тот тёмный заснеженный город, откуда надо, но невозможно уехать, был практически сном про рай.

Почти беззвучно подвывая от неконтролируемого ужаса, Ольга огляделась по сторонам – что происходит? Что-нибудь изменилось? Когда придут выбирать, кого убивать? Это страшно, но гораздо страшнее ждать и надеяться – интересно, на что надеяться? Мы – последние, больше никого не осталось. Некому нас спасать.

В рядах голых тел наблюдалось какое-то волнение, женщины ёрзали, поворачивались с боку на бок, вставали и тут же снова садились, некоторые падали, как подкошенные, другие куда-то брели, понукаемые невидимыми погонщиками. Значит, снова пришли выбирать.

Кто выбирает, Ольга толком не знала. Никто этого не знал. Враги-убийцы оставались невидимыми, возникали неведомо откуда, преодолевали любые

преграды, убивали прикосновением, или даже взглядом, им это было легко, как дышать. Всех мужчин они убили сразу, а женщин оставили, чтобы выбрать самых красивых. Ходили слухи, что красивые женщины будут рожать от невидимых, потому что тем нужна пища, а есть они могут только своих же детей, другая еда им не подходит, поэтому они рыщут по всей вселенной, ищут обитаемые планеты и производят на свет полукровок на мясо. Ольга не могла в такое поверить, но всё равно откуда-то знала, что именно так и есть. И металась – то радовалась, что немолода и некрасива и ей не придётся рожать детей на съедение, то завидовала красивым женщинам, что им разрешат долго жить. Но изменить, в любом случае, ничего не могла, у неё не было ни одежды, чтобы прикрыть отвисшие груди, толстые уродливые колени и складки на животе, ни косметики, чтобы сделать лицо привлекательным, оставалось только сидеть и ждать смерти, скорой, самой страшной на свете смерти, хуже, чем любые кошмарные сны.

Толпа голых женских тел взволнованно шевелилась, где-то совсем рядом раздался страшный истошный крик, и Ольга поняла, что невидимые убийцы уже на подходе. Ожидание смерти вот-вот закончится, сейчас будет сама смерть.

* * *

– Я не могу больше, – беспомощно сказал ангел Урсус Маритимус. – Нельзя так с людьми! Даже мне жутко, а ведь я только со стороны наблюдаю, как она бьётся в этих сетях. А ей-то самой как страшно! Она же может умереть от страха. Умереть в таком жутком сне!

– Не умрёт, – утешила его ангел Вера Ахметовна. – Здоровая девка, справится. Даже давление не особо подскочит. Всё с ней будет в порядке, верь мне.

– Но почему мы позволяем этому… этим… не знаю, кто они, никогда ещё такого не видел, и ты мне о них не рассказывала…

– Зачем рассказывать, когда можно показать? Сиди, любуйся. Это Пугалы; название не настоящее, просто рабочий термин, чтобы было понятно, о ком речь. А сами они вообще никак себя не называют; старшие говорили, в их языке нет ни существительных, ни прилагательных, только бессвязные междометия для выражения ощущений и примерно полсотни глаголов, обозначающих самые примитивные действия: «спать», «убегать», «появляться», «плести», «голодать»,

«наслаждаться», «есть». Пугалы – сущие дикари, вечно голодные хищные твари. Они питаются страхом, а это дрянная, грубая пища. Фу и бе.

Урсус Маритимус невольно улыбнулся. «Фу и бе» в устах опытного ангела с внешностью его старой учительницы математики прозвучало неподражаемо. Самый абсурдный в мире абсурд.

– При этом они, сам видишь, большие искусники, – продолжила ангел Вера Ахметовна. – Тщательно плетут свои сети, ловко вытаскивают из спящего человека его самые тайные страхи и воплощают их столь убедительно, что невозможно им не поверить. Умелые мастера! Но каши с этими мастерами не сваришь. Я имею в виду, не получится ни договориться, ни обуздать их, ни приручить: во всём, что не касается поиска пищи, Пугалы на удивление глупы. Я, скажу тебе честно, с удовольствием прихлопнула бы их какой-нибудь огненной мухобойкой, но они при всех своих недостатках живые твари, а мы, ты, наверное, сам уже понял, не можем отнимать жизнь.

– Нет, пока не понял, – признался ангел Урсус Маритимус. – Просто не думал об этом. Как-то до сих пор не было нужно. Но эту парочку я бы с удовольствием, как ты выразилась, прихлопнул. Жалко, что нам нельзя.

– Можно, нельзя – не разговор. Нет никаких запретов, есть деяния, несообразные с нашей природой. Иными словами, не та у нас с тобой специализация, чтобы кого-то прихлопнуть. Мы – чтобы спасать. Поэтому будем и дальше гонять этих красавцев поганой метлой, чтобы не мельтешили…

– Ну так почему мы их прямо сейчас не гоним поганой метлой подальше от этой девчонки? – нетерпеливо спросил ангел Урсус Маритимус. – То есть, я понятно почему не гоню: просто пока не умею. А ты?

– Я жду, что она сама их прогонит, – объяснила ангел Вера Ахметовна. – Прогноз, положа руку на сердце, не очень, девчонка совсем запуталась в этом сне, парализована страхом, почти не помнит себя. Но пока есть хотя бы мизерная надежда, что человек сам справится, нельзя отнимать у него этот шанс.

* * *

Плетут. Предвкушают. Дрожат. Плетут, плетут.

Ошшом-шши-шшом!

Ёшом-шом!

Плетут. Едят, наслаждаются. Плетут. Едят, едят.

* * *

Эбилма говорила: «Ты умрёшь у моря, точно, я знаю; такие, как ты, всегда умирают у моря, я всегда вижу это последнее смертное море на самом дне ваших глаз», – вдруг вспомнила Ольга. И почти по-настоящему рассердилась: смерть пришла, а рядом нет никакого моря, только земля, земля. Соврала Эбилма.

Эбилма была странная. Хорошая девчонка, наполовину цыганка, наполовину монголка, адская смесь. Училась на биологическом факультете, играла в какой-то никому неизвестной рок-группе; кажется, на басу. Когда её просили: погадай, ты же цыганка, – крутила пальцем у виска: вы что, верите в эту ерунду? Но иногда без всяких просьб вдруг говорила удивительные вещи, просто так, ни с того ни с сего. И Ольге однажды сказала: ты умрёшь у моря. Ольга тогда ей сразу поверила. И почему-то обрадовалась, хотя на самом деле какая разница, где умирать. Зря, выходит, поверила, – думала Ольга. – Смерть пришла, всех вокруг убивают, толстая женщина замертво упала на землю совсем рядом со мной, и другая, худая, с носом картошкой, упала, и третья, красивая, смуглая, с тонкой талией, думала, таким позволяют жить, но оказалось, нет. Сейчас придёт моя очередь умереть, а море? Где море, я спрашиваю? Мне для смерти положено море, настоящая цыганка сказала! Почему моря нет?

Ольга встала, стояла, пошатываясь от слабости и от страха, панически оглядывалась по сторонам: море! Где моё море? И вдруг увидела, как издалека, от самого горизонта стремительно движется, приближается огромная, до неба восхитительная, страшная, как последний день мира, волна. Ольга торжествующе расхохоталась, громко сказала остальным женщинам: «Море идёт. Мы умеем быть рыбами, а они – нет». Женщины, живые и мёртвые, тоже стали смеяться, повторяя: «Мы можем быть рыбами, рыбами», – а невидимые

враги-убийцы закричали таким специальным тоже невидимым криком, от которого растрескалась земля. Они не научились быть рыбами и теперь сразу поняли, что придётся им погибать.

Рыба-Ольга стояла, смеялась, враги-убийцы кричали от страха. Теперь они боялись вместо неё, пришла их очередь умирать. Мы их съедим, – говорили другие женщины-рыбы. – Они утонут, мы их съедим!

А потом пришла волна, и везде сделалось море. Море для женщин-рыб. Навсегда.

* * *

Отшатнулись. Ослепли, мечутся. Рассыпаются, рвутся, кричат.

Ссса-йи! Ссаа-сса-иии!

Йи-са-ссса!

Йа-шааа-са!

Рвутся, рвутся. Рассыпались. Разлетаются, растворяются. Падают, падают. Меркнут, глохнут. Кричат. Затихают. Забывают. Гаснут, молчат. Спят.

* * *

– Господи, как же это было красиво, – восхищённо выдохнул ангел Урсус Маритимус.

Строго говоря, он, конечно, не выдохнул. Потому что вообще не дышал. Просто сделал что-то такое тождественное восхищённому выдоху для тех, у кого нет плотных человеческих тел.

– Вот именно ради этой красоты мы с тобой сидели на задницах, как два бесполезных мешка с дерьмом, и не делали ни хрена, – сказала ангел Вера

Ахметовна. И тут же исправилась: – Я имею в виду, бездействовали несколько дольше, чем нам хотелось бы. Смешно: когда очень радуюсь, начинаю ругаться, как сапожник. Хотя сапожником ни дня не была. И вообще ругаться только здесь научилась. Благо было у кого!

Ангел Урсус Маритимус чуть не спросил: «А кем ты была? И у кого научилась ругаться? Я с ним знаком?» – но сдержался. У ангелов как-то не принято расспрашивать друг друга о прошлом; считается, что со временем, точнее, с опытом, знание всего обо всех приходит само. А если не придёт, значит, оно тебе и не надо. И так отлично проживёшь.

Поэтому он спросил о другом:

– Мы не помогли этой девочке избавиться от кошмара, чтобы посмотреть на красоту, которую она устроит в финале? А не слишком ли большая жертва? Ей-то было страшно по-настоящему, не как нам.

– На самом деле не только ради красоты финала, – ответила ангел Вера Ахметовна. И, подумав, добавила: – Честно говоря, вообще не ради красоты, хотя лично для меня красота – самое главное. Есть у меня такая слабость: я люблю красоту. Но бездействовали мы совсем не поэтому. А чтобы уничтожить кошмар. Больше этот сон никогда никому не приснится.

– Никому? Вообще никогда?!

– В том-то и дело. Если бы мы сами шуганули Пугал, они бы, конечно, удрали, не пообедав, не вопрос. Но сеть, которую они сплели, осталась бы целой. И в неё мог бы попасться кто-нибудь ещё. И увидеть точно такой же кошмар.

– Но другие-то кошмары остались.

– Конечно, остались, – беззаботно подтвердила Вера Ахметовна. – Так уж устроено, совсем без кошмаров не получается. Но я так считаю, чем их меньше, тем лучше. Тем более, этот сон был не только страшный, но и очень противный. Ну его совсем. Я рада, что его больше никто не увидит. Но ещё больше я рада за девочку. Победа над собственным страхом – великое дело. Такие победы должны быть в каждой человеческой жизни, чем больше, тем лучше. А наяву или во сне, дело десятое. Человек-то один и тот же. Победил, значит, победил.

* * *

Проснувшись, Ольга ещё долго лежала в постели, смотрела в потолок, который когда-то сама обклеила мелкими звёздами, почти невидимыми при свете, зато мерцающими бледным зеленоватым сиянием в темноте. Чувствовала себя удивительно свежей и бодрой; вообще-то странно – с учётом того, что всю ночь снилась какая-то жуткая срань.

Думала, добродушно посмеиваясь над собственными сомнениями: интересно, это я сейчас на самом деле проснулась или снова в какой-нибудь новый сон? Ладно, неважно, теперь-то я знаю, что делать. В любых непонятных обстоятельствах требуй себе своё море. И море придёт.

* * *

– Такое странное чувство, – сказал ангел Урсус Маритимус, вытягиваясь во весь свой бесконечный огненный рост в той области мягкой туманной тьмы, которая иногда заменяет постели усталым ангелам. – Очень приятное, но необычное. Как будто я вырос… нет, не вырос, просто меня стало больше. Или во мне стало больше чего-то? Ни на какие знакомые ощущения не похоже, поэтому не могу описать.

– Я знаю, о чём ты, – улыбнулась ангел Вера Ахметовна, удобно расположившаяся в той же области тьмы. – Поздравляю с почином. Такое всегда случается, когда у нас на глазах слабый перепуганный человек одерживает победу над страхом. Скажу тебе по большому секрету, иногда мне кажется, мы это – не человека, не страх, а сам факт победы – каким-то образом едим.

Третья сторона

(из сборника «Сказки Старого Вильнюса V»)

«Люблю тебя бесконечно», – говорит Стефан и кладёт телефон в карман. Или выбрасывает в реку. Или, чего доброго, суёт себе в ухо, как ярмарочный фокусник. И хранит там до следующего звонка. Кто его знает.

Фира даже не улыбнулась, вообразив это зрелище. Ну в ухо и в ухо, а чего, нормально, ему бы пошло.

Свой телефон она прятать не стала, ни в ухо, ни просто в сумку, бросила на пустое пассажирское сиденье, пусть будет под рукой. И заодно на виду. Когда рассекаешь по городу в золотистом кабриолете, прекрасном и неуместном, как саламандра на электрогриле, гордо откинув верх – все выхлопные газы мои! – чертовски приятно выставлять напоказ старую боевую «Нокию», обмотанную изолентой, синей и ещё немножко жёлтой, какая под руку в момент катастрофы попалась, такой и обмотала, а потом взглянула на дело рук своих и решила, что это хорошо, зачем что-то менять.

Фире пятьдесят девять лет, у Фиры голубые, как майское небо, глаза, тёмно-лиловые – крашенные, не свои, увы – волосы, серое шёлковое платье в мелкий цветочек, великолепные, скульптурной красоты руки, без единого кольца, зато с маникюром на отдельно взятом правом мизинце, ноготь которого тщательно выкрашен в канареечно-жёлтый, в тон изоленте на телефоне, цвет. У Фиры голос, даже не так – Голос. В смысле, контральто. Уникальное, как утверждают специалисты. И вот прямо сейчас, когда Фира, одновременно нажав на газ и на кнопку магнитолы, начинает подпевать Егору Летову: «Монетка упала третьей стороной, монетка упала третьей стороной, армагеддон попс», – в этом могут, содрогнувшись, убедиться фланирующие по бульвару прохожие, так уж им повезло в этот солнечный июньский день.

На самом деле, Фира никогда не любила «Гражданскую оборону». А эту конкретную песенку вообще терпеть не могла, да и сейчас не то чтобы может. Но уж больно хорошая шутка, контекстуальная, никому не понятная, кроме самой Фиры и, может быть, ещё четырёх человек. Впрочем, их-то сейчас нет рядом.

* * *

«…ваш автомобиль марки «Крайслер», государственный номер BND-007, был обнаружен по адресу город Клайпеда, улица Тайкос угол…»

Чего?!

Перечитал ещё раз. Что за чушь.

Какой, к лешему, автомобиль? Какая может быть Клайпеда? И, самое главное, при чём тут я? Я же продал старика… – дай бог памяти – семь, если не все восемь лет назад. Бедняга Бонд! Какой нелепый финал.

Нериюс вертит в руках листок плотной розовой бумаги, неровно оборванной по краю, зато украшенной самой настоящей круглой печатью, полицейской или нет, без лупы не разберёшь, но вроде бы…

Ай, ну да. Дошло. Лупу можно не искать.

Нериюс достаёт из кармана телефон, по памяти набирает номер, которого нет ни в одном из списков, чёрт его знает, почему, Стефан никогда не просил хранить его координаты в секрете, сам не захотел записывать; возможно, просто потому, что так и не решил, в какую группу определить Стефана. «Семья»? «Друзья»? «Клиенты»? «Коллеги»? Даже не смешно. Ладно, какая разница, главное, что не забыл.

– Один-ноль в твою пользу, – объявляет Нериюс, когда долгие гудки наконец сменяются бодрым баритоном: «Слушаю».

– Розыгрыш совершенно идиотский, – укоризненно говорит Нериюс. – Тем не менее, он удался. Я поверил, что это самое настоящее извещение, и даже начал судорожно вспоминать, в какую далёкую галактику засунул документы о продаже бедняги Бонда, столько лет прошло. Ну чего ты ржёшь? Да, настоящее извещение на розовом бланке, почему нет. Откуда я знаю, какие сейчас у вас порядки? Может, вы ещё и засушенные фиалки подозреваемым рассылаете, я бы не удивился… А почему ты просто не позвонил? Я вполне мог бы до вечера воскресенья домой не вернуться. Или просто мимо почтового ящика пройти.

– Не мог, – говорит Стефан. – Ты всегда всё делаешь вовремя. – И, помолчав, добавляет: – Люблю тебя бесконечно.

В его устах эта фраза всегда кажется своевременной и уместной. Хотя, по идее, должно быть просто смешно.

Спрятав телефон в карман, Нериюс, крупный сорокалетний мужчина в элегантном летнем костюме, совладелец перспективной риелторской фирмы, достаёт из холодильника бутылку лимонада «Тархун», привычно откупоривает её обручальным кольцом, выходит на балкон и залпом выпивает пол-литра ледяной ярко-зелёной газированной жидкости. Лучше бы, конечно, чего-нибудь покрепче, но перед работой покрепче нельзя.

* * *

– Ну как – где? – говорит Арина. – В Монте-Карло, конечно. Как раз думаю, на что бы такое интересное сейчас поставить предпоследний из унаследованных миллионов? На красное или на чёрное, как считаешь? Если уж так вовремя позвонил, подскажи.

Очередь, выстроившаяся в кассу супермаркета «Максима» – ну, то есть как очередь, две пожилые дамы и студент с бутылкой пива, – взирает на Арину с уважительным интересом.

– На чёрное, конечно, – отвечает ей Стефан. – Зачем нам с тобой сейчас красное, сама подумай. И если уж всё равно зашла в магазин, купи мне жвачку. Лучше апельсиновую, но, в общем, всё равно.

– Плакал мой миллион, – вздыхает Арина. – Вечно ты находишь, на что потратить моё наследство. Ладно, что с тобой делать, куплю.

– Люблю тебя бесконечно, – говорит Стефан, да так проникновенно, что Арина берёт с полки целых две упаковки жевательной резинки. Апельсиновую, как он просил, и арбузную, просто потому что у неё красивая упаковка. Зелёная с красным, а на красный мы как раз решили не ставить, значит, всё сходится. Или наоборот? Ай, да какая разница. Всё равно вряд ли этот гостинец достанется

Стефану. Он – не великий любитель дружеских встреч, ни во сне, ни наяву.

Арина складывает в холщёвую кошёлку покупки: половинку чёрного хлеба, четыре банана, коробку овсяных хлопьев, литровый пакет молока, пластиковый лоток с пророщенным овсом для кошки, стоит каких-то непомерных денег, но Сигрюн любит молодую траву, так что не жалко, пусть грызёт.

Арина выходит из супермаркета – пухлая, уютная женщина средних лет с немного беспомощными, как у всех близоруких людей, глазами, густыми каштановыми волосами, небрежно скрученными на затылке, в тёплой зелёной кофте и новенькой, колом стоящей джинсовой юбке из «Маркса и Сепнсера». В кошёлке у неё продукты, в кармане кофты – две упаковки жевательной резинки, на устах мечтательная улыбка, а в сердце – ослепительная, леденящая кожу и душу тьма, как всегда.

Как всегда перед битвой.

* * *

Семён Аркадьевич молча мотает головой. Потом закрывает лицо руками. Издаёт тяжёлый протяжный стон, который, по его замыслу, соответствует повелительному наклонению нецензурного синонима глагола «отстань», но звучит гораздо убедительней.

Стефана, впрочем, этим не проймёшь.

– Знаю, что хреново, – говорит он. – Но без тебя ребята не справятся. А замены тебе пока нет.

– Сдохну я скоро, – глухо, не отнимая рук от лица, говорит Семён Аркадьевич.

– Знаю, – кивает Стефан. – Вот тогда и отдохнёшь. Кому другому не стал бы такое говорить, но тебе можно. После такой тяжёлой работы каждому положен отпуск. И я лично позабочусь, чтобы ты остался доволен.

– Раньше ты мне ничего такого не обещал.

– Ну так раньше было рано. А теперь самое время поговорить начистоту. А то, чего доброго, заиграешься в бедного больного, поверишь, будто «сдохнуть» это и правда что-то плохое. Эй, неужели ты думал, что я тебя брошу в такой момент?

Семён Аркадьевич утвердительно опускает веки. Дескать, а что ещё мне было думать.

– Ничего, – улыбается Стефан. – Я на тебя не в обиде. Скорее наоборот. Ты, наверное, единственный, кто никогда даже втайне от самого себя не ждал никакой награды, но всё равно неизменно приходил на помощь. Ты крут.

– Да не то чтобы, – почти беззвучно говорит Семён Аркадьевич. – Просто я очень любил эти сны. Кроме них, у меня, считай, ничего стоящего в жизни и не было.

– Понимаю, – отвечает Стефан. – Но мало ли, как оно складывалось раньше. Всё только начинается. Считай, ты сейчас птенец, которому предстоит вылупиться из яйца. Правда. Впрочем, не хочешь, не верь, всё равно вылупишься, куда денешься. Люблю тебя бесконечно.

Палата открыта нараспашку, поэтому Семён Аркадьевич видит, как его посетитель удаляется по длинному больничному коридору, в самом конце которого белая дверь, ведущая к лифтам. Больше всего на свете он сейчас хотел бы прогуляться по этому маршруту – не на каталке, сам. Но это, будем честны, вряд ли получится.

На тумбочке в изголовье пламенеет оставленный гостем апельсин. Есть его Семёну Аркадьевичу, конечно, нельзя. Но взять в руки, смотреть, нюхать, гладить пористую оранжевую кожуру всё-таки можно.

Ну, хоть так.

Семён Аркадьевич закрывает глаза. Думает: «Пойду туда прямо сейчас. Лучше ждать, чем опаздывать. Возьми меня, Эйтери, мой свет золотой».

* * *

– Лето, считай, только началось, а мы уже третий раз от этой прожорливой пакости отбиваемся, – говорит Стефан. – Что за год вообще, а. Что за год!

– Високосный, – встревает Ари.

И никто – заметьте, вообще никто! – не тянет язвительно: «Нуууу дааа, конееечно, это всё объясняет, а мы-то, дураки, не догадывались!» Ари новенький, дразнить его пока рано, пусть сперва привыкнет к тому факту, что он вообще есть. И всё остальное, включая коллег по работе, тоже. Хотя коллекционирование народных примет и прочих бабкиных сказок до добра не доведёт. Он одно время даже с чёрными кошками эксперименты ставил, в смысле, постоянно вынуждал бедняг перебегать ему дорогу, а потом тщательно отслеживал движения нитей своей судьбы, пытаясь найти в их колебаниях хотя бы смутное предвестье обещанной беды; вроде бы, не преуспел, но исследовательского энтузиазма, увы, пока не утратил.

– У меня подружка в Туапсе живёт, – говорит Таня. – Это на побережье Чёрного моря; ладно, неважно. Факт, что к ним в город внезапно пришла саранча. Говорят, марокканская; не понимаю, как это может быть, тем не менее, шла-шла и пришла. Жрёт всё подряд, включая автомобильные шины и рекламные растяжки, население замерло в предапокалиптическом восторге.

– Это ты к чему? – хмурится Стефан.

– Ни к чему, – вздыхает Таня. – Просто по ассоциации вспомнила. Извини, шеф.

– Да ладно тебе. Ты права, саранча и есть. Просто с такими оригинальными представлениями о здоровом питании, ничего кроме сновидений не жрёт. Лучше бы, конечно, они тоже на автомобильные шины перешли. Было бы смешно.

– Тем более, – веско говорит Альгирдас, – что лично у меня только велосипед.

– А у меня самокат, – встревает Таня.

– По-моему, самокат – прекрасное средство передвижения, – оживляется Ари. – И освоить его оказалось совсем не трудно. Я вчера всего два раза упал.

– Вот идите и катайтесь, – ухмыляется Стефан. – Всю ночь напролёт, благо погода позволяет. Ну или ещё что-нибудь придумайте, лишь бы не заснули до рассвета. Нельзя нам сегодня спугнуть эту дрянь. У моего лучшего бойца второй попытки, пожалуй, уже не будет.

* * *

– Сегодня никакого кофе, Милда, – говорит Фира, так звонко, что её слышат не только знакомая барриста, посетители кафе и прохожие, но и жильцы всех домов этого квартала, включая сидящих за закрытыми окнами. – Никакого кофе, детка, – повторяет она. – Мне сегодня надо уснуть пораньше. Поэтому пусть будет это ваше нелепое розовое ситро, давно хотела его попробовать. И гони меня отсюда прочь, это место полно демонических соблазнов, а я слаба.

Барриста Милда улыбается и ставит перед Фирой бутылку ревеневого лимонада. И стеклянный стакан.

Фира сидит под полосатым тентом, летнее кафе на центральной улице города – отличное место, чтобы достать из небрежно брошенной на липкий от пролитого за день кофе пластиковый стол шикарной «шанелевской» сумки старый, обмотанный цветной изолентой телефон, нажать нужную кнопку и говорить – громко, звонко, на радость всем любопытным кумушкам города: «Любовь моя, прости, я сегодня ночую дома. Да, я тоже не в восторге от этой идеи, но ничего не поделаешь, так надо. Не грусти, наверстаем. Какие наши годы, слышишь? Эй!»

Можно было бы позвонить, не выходя из машины, или позже, из дома, но вести телефонные разговоры Фира предпочитает на публике. Она любит привлекать к себе внимание. Внимание даёт ей силу, поэтому после самого тяжёлого концерта Фира готова перевернуть мир, а потом до утра прыгать козой, такое уж у неё устройство. Но концерты бывают не каждый день. А сила нужна вот прямо сейчас. То есть, конечно, вообще всегда, но нынче вечером – особенно.

«Ничего-ничего, – думает Фира, с удовольствием вертя в руках свой ужасающий телефон, – я сейчас ещё домой поеду под «Полёт валькирий». То-то будет веселье!»

В дом Фира входит, пританцовывая от нетерпения. И сразу, не раздеваясь, даже не смыв косметику, падает на кровать.

* * *

– Сегодня никак не получается, – говорит Нериюс. – Дела накопились, а с вами я, сама знаешь, много не наработаю. Какой дурак станет работать, когда так хорошо?

И чувствует, как Индре улыбается – там, у себя, почти в сотне километров отсюда, на берегу озера, или на новенькой, только что достроенной веранде, или в прохладной полутьме деревянного дома, смотря где её застал звонок. И Мета, зажмурившись от восторга, раскачивается на качелях – выше, ещё выше, вот так! И обалдевший от простора и обилия запахов Рукас носится по двору, мотая хвостом. Whish you were here, – как бы говорят ему эти прекрасные видения, все трое, дружным хором. Эх, ещё бы. Я бы и сам хотел.

– Приеду завтра после обеда, – говорит Нериюс. – Обидно, но ничего не попишешь, есть такое неприятное слово «надо». И другое, совсем противное: форс-мажор.

Закончив разговор, Нериюс поднимается в свой кабинет, ложится на диван, очень узкий и жёсткий, самому удивительно, как удаётся на нём заснуть. Однако факт остаётся фактом, не просто удаётся, а спится гораздо лучше и крепче, чем где бы то ни было. Хотя, если подумать, всё самое страшное, что довелось пережить, случалось с ним именно здесь. Удивительно всё-таки устроен человек.

* * *

– Завтра же её заберу, – говорит Арина.

Серая кошка Сигрюн, получившая имя в честь одной из валькирий, вальяжно разгуливает по подоконнику. Здесь она чувствует себя как дома, давно привыкла, непоседливая хозяйка часто куда-нибудь уезжает и оставляет её у сына, который души в этой кошке не чает, хоть силой у родной матери отнимай.

– Завтра? – переспрашивает Лукас. – А ей не будет вредно?..

Арина, наскоро сочинившая более-менее убедительную историю о травле насекомых, нетерпеливо машет рукой.

– Да не вредно, совсем не вредно! Это такой прекрасный яд нового поколения, действует всего четыре часа. А потом – всё, хоть полы вылизывай, ничего не сделается. Я бы её прямо сегодня забрала, но не будить же тебя среди ночи.

Ужасно трудно всё-таки врать. Одна ложь тянет за собой другую, обе хором требуют уточнений, и поди ещё всё это запомни, не перепутай, не забудь хотя бы до завтра, а лучше – вообще никогда. Глупо получится, если через неделю заботливый сын поинтересуется: «Ну и как там ваши тараканы, не восстали из мёртвых?» – а ты, как последняя дура брякнешь: «Какие ещё тараканы, у нас дома их отродясь не водилось».

Будь моя воля, – думает Арина, – ни за что бы не стала врать. Но не говорить же ему: «Я боюсь, что кошка не вовремя меня разбудит, а ещё больше – что она нечаянно увидит мой сон. Потому что я совсем не уверена, что смогу её защитить». Вряд ли Лукас вот так сразу потащит непутёвую мать к психиатру, но покой утратит надолго. Сама бы на его месте утратила, факт.

Доехав до дома, Арина обнаруживает в телефоне целых три смс: «Ты только за порог, а кое-кто сразу к холодильнику», «Ест курицу», «Извини, ошибся. Не ест, а жрёт».

Хорошо, что Лукас так любит Сигрюн, – думает она. – Если вдруг что, эти двое будут друг у друга, а значит, точно не пропадут. Чего ж мне ещё.

* * *

– Хуже всего, – говорит Таня, – что когда приходят эти… любители сладких снов, мы сразу оказываемся не у дел, и весь личный состав Городской Граничной полиции до утра шарится по городу, попутно истребляя гигалитры кофе – не присаживаясь, на ходу, чтобы, не дай бог, не задремать. Потому что наши чудесные гости жрут только нормальные человеческие сны. А от наших шарахаются, как чёрт от ладана. Вот так и узнаёшь удивительные новости о себе: оказывается, мы уже в недостаточной степени люди. С точки зрения авторитетных экспертов, чёрт бы их побрал. Впрочем, на кой ему такое добро.

– Как они на самом деле называются? – переспрашивает Таня. – А никак. И смотри, не вздумай сочинить им какое-нибудь остроумное прозвище. Не дай бог, получится метко, сядет, как влитое, прилипнет намертво, станет именем, а это нельзя! Очень важно, чтобы они и дальше никак не назывались. Стефан говорит, дать имя чудовищу – всё равно что подарить ему дополнительную силу. Это правило работает не всегда, но лучше не рисковать. Им и так слишком привольно у нас живётся. По крайней мере, пока.

* * *

– Хуже всего, – говорит Альгирдас, – когда единственный способ помочь делу – стоять в стороне и ждать, чем закончится. Если хоть один из наших сегодня заснёт, эти твари могут переполошиться и разбежаться. Но могут и не разбежаться, никогда заранее не знаешь, что на этот раз окажется сильней: их голод или их страх. И далеко они, в любом случае, не убегут, просто переползут в чей-нибудь сон по соседству, где нас совершенно точно нет. И гоняйся потом за ними, как пёс за кроликами. Увлекательно, кто бы спорил, да толку чуть.

– Нет, – говорит Альгирдас, – мы не можем находиться сразу везде. А то давным-давно выставили бы стражу и навсегда забыли бы о проблемах с незваными гостями. Но всех городских снов за один присест не увидишь, хоть тресни. Нет, никто так не может, не только мы с тобой. Новичков учат совмещать два сновидения – своё и напарника, потом добавляют третье, условно говоря, подозреваемого или пострадавшего, и вперёд, с этим навыком уже можно начинать работать. С опытом приходит умение объединять в своём сознании несколько десятков сновидений, у больших мастеров счёт идёт на сотни, но в нашем городе живёт полмиллиона человек, это всё-таки слишком много. За всеми спящими одновременно не уследишь. А значит, этим тварям всегда будет где спрятаться и чем там поживиться. Удивительно ловкая, ушлая, живучая

дрянь.

– Положа руку на сердце, – говорит Альгирдас, – я мало что знаю об этой напасти. Расспроси лучше шефа. Он сейчас в отвратительном настроении, а значит, будет рад возможности поболтать.

– Хуже всего, – говорит Стефан, – что когда возникают проблемы, которые люди могут решить только сами, без поту… посторонней, в общем, без нашей помощи, они обычно даже не догадываются, что эти проблемы у них есть. Сны больше не снятся? Тоже мне горе, подумаешь, сны! Без них только лучше, полноценный здоровый отдых. И вообще, учёные говорят, что яркие, достоверные сны – просто симптом разнообразных душевных болезней. А мы, значит, в полном порядке! – радуются бедняги, лёжа на самом дне пропасти, со сломанными хребтами. И это – жители города, чей фундамент сложен из сновидений! Чего тогда ждать от всех остальных.

– Ткань сновидения, – говорит Стефан, – паутина, которую вместе, дружно, одновременно плетут сразу два паука: спящий и его незримый тайный двойник; иными словами, тот, кем становится каждый из нас, пересекая границу между чрезвычайно убедительной иллюзией бытия и подлинной жизнью сознания. Уничтожая их общий труд, пожиратели снов рушат мост между ними, который, будем честны, и без того слишком хрупок. А лишившись моста, двойники окончательно забывают друг о друге и становятся слабыми, растерянными, беспомощными половинками больше не существующего целого. Как ты думаешь, долго ли они проживут врозь? Вижу, ты знаешь ответ. И можешь представить, как легко будет хищникам справиться с тем из двоих, кто кажется им лакомым куском, самой сладкой едой, венцом насыщения. А человеческими телами они не интересуются: грубая, тяжёлая пища, можно отбросить в сторону – ладно, пока живи. Другое дело, что жить всё равно не получится: человеческое существо состоит из двух половинок, явной и тайной, одна без другой не просто беспомощна, а невозможна. А почему, как ты думаешь, вокруг так много живых мертвецов, вполне довольных собой? Им даже шанс оплакать свою утрату не светит: некому, нечем её осознать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/maks-fray/tret-ya-storona

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить